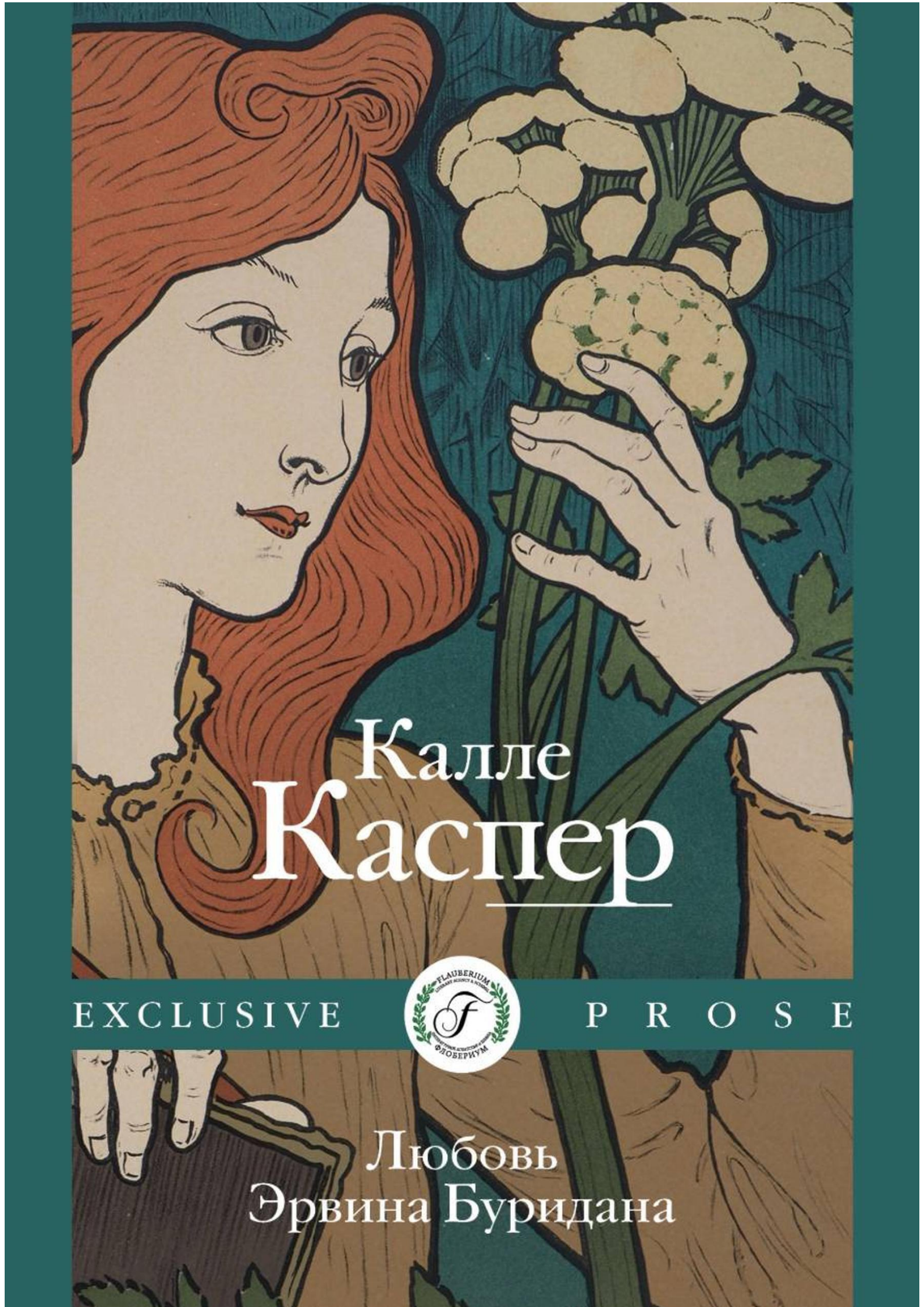


A stylized illustration of a woman with long, wavy red hair, looking down at a large yellow flower she is holding. The background is a dark teal color with some green foliage. The woman is wearing a brown garment.

Калле Каспер

EXCLUSIVE



P R O S E

A small illustration of a hand holding a book, located at the bottom left of the cover.

Любовь
Эрвина Буридана

Калле Каспер

Любовь Эрвина Буридана

«Автор»

2026

Каспер К.

Любовь Эрвина Буридана / К. Каспер — «Автор», 2026

Останься у Эрвина с буржуазного времени острые английские лезвия, он уже не прыгал бы по «подвалу из слоновой кости», как некогда окрестил свою квартиру, а гнил бы в земле. Задним числом Эрвин уже не находил оправдания своему опрометчивому решению – жизнь дается человеку не для того, чтобы из нее уйти добровольно. Почему он считал, что выхода нет? Выход есть всегда! Надо только иметь немного воображения и воли. Хорошо бы – и две ноги. Но и одной достаточно для того, чтобы найти наконец смысл своего бытия.

Содержание

Часть первая	6
Глава первая	6
Глава вторая	15
Глава третья	23
Глава четвертая	29
Глава пятая	38
Часть вторая	42
Глава первая	42
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Каспер Калле

Любовь Эрвина Буридана

Памяти моего дорогого отца Рихарда Каспера

Год 1960-й

Часть первая Сестры и братья

Глава первая Подвал из слоновой кости

Сентябрьский ветер раскачивал ветви деревьев в парке, только начавшие желтеть листья подрагивали, трепетали, вставляли дыбом, но не отрывались, у них еще хватало сил бороться за существование. За перегородкой слышались удары мяча, по радио Тито Гобби проникновенно пел о тяжелой судьбе Риголетто. Пришла из магазина дворничиха, неся авоську с двумя бутылками молока.

– Концерт по заявкам окончен. Говорит Таллин. Одиннадцать часов. Начинаем производственную гимнастику...

Пора, решил Эрвин, выключил приемник, после чего удары мяча из-за перегородки сразу стали слышнее, с трудом, вцепившись обеими руками в изголовье кровати, поднялся с постели, взял стоявшие у стены костыли, расположил их удобнее под мышками и, энергично отталкиваясь обоими одновременно, отправился на кухню. Прикрыв дверь в прихожую, чтобы из гостиной не было видно его уродливого тела, он подобрался к плите и взял с нее коробку спичек, с которой глядели два бородача, Карл Маркс и Фридрих Энгельс.

Далее предстояло самое сложное – зажечь конфорку, не потеряв равновесия. Первые две попытки не удались, спички начинали обжигать пальцы, прежде чем он успевал повернуть ручку. Что поделаешь, его инвалидный опыт был еще недолог, намного короче, чем у его бесчисленных товарищей по несчастью, потерявших конечности на просторном, накрывавшем всю Европу операционном столе Адольфа Гитлера, ведь, если подумать, война тоже состоит из операций.

С третьей попытки газ загорелся, Эрвин поставил чайник на огонь, перепрыгнул к кухонному столу и опустился на табуретку, чтобы дать отдохнуть ноге. Конечно, с протезом все было бы проще, но он боялся, что ремень натрет кожу и это сорвет его планы, его и так подстерегали разного рода опасности, вдруг, например, Тамара придет домой раньше обычного либо он встретит перед домом Викторию или хотя бы Монику. «Дядя, Эрвин, куда вы это с рюкзаком?» – спросит бдительная комсомолка, и вряд ли ее удовлетворит ответ: «На рынок, покупать арбуз», наверняка она помчится домой и доложит: «Мама, я только что встретила дядю Эрвина, он нес рюкзак и, как мне показалось, собрался куда-то ехать...» Виктория, естественно, побежит за ним, и разве одноногий сравнится в скорости с двуногой?

Удары мяча тем временем все продолжались и продолжались, как почти каждое утро. Эрвин пытался не обращать на шум внимания до тех пор, пока не начинала болеть голова. «Ты сам научил сына играть в мяч», – пеняла ему Тамара, когда Эрвин пробовал жаловаться. «В спортивном зале». – «А пинг-понг?» Да, конечно, это было ошибкой – раздвинуть, вставив дополнительные панели, обеденный стол, прикрепить сетку и дать сыну в руки ракетку, поди теперь объясни, чем мячик для настольного тенниса отличается от большого, резинового, дети неразумны, от Тамары же помощи ждать не приходилось, в жене вообще гнездилась некая деструктивная сила, к примеру, ей доставляло удовольствие, если что-то разбивалось.

Эрвин понял это, когда жертвой Тимо стала оставшаяся от мамы хрустальная ваза – на лице наблюдавшей за сыновним вандализмом жены возникла на миг довольная улыбка. Так что пусть сын продолжает уродовать мячом стену, пусть уничтожает все на своем пути, как маленький Аттила, у одного из резных атлантов, поддерживающих буфет, уже были отломаны

два пальца, потеряет ногу, ну и бог с ней! Кстати, это не так страшно, как принято считать, без одной ноги жить можно, живет же большинство людей даже без совести, так что вопрос был не в атланте, а в Тимо, в его будущем, что Эрвина, несмотря ни на что, волновало. Кровь от его голубой крови и плоть от его увядающей плоти угодила в руки варваров, Тамара прямо-таки культивировала в сыне невоспитанность, если таковое (воспитание невоспитанности) возможно, а оно возможно, не говоря о злобности, самодовольстве и эгоизме, которые начинают расти, подобно сорнякам, если их вовремя не выколоть. Он, Эрвин, мог теперь сражаться за Тимо как за человека только косвенно, с помощью своих генов, прямая битва, которую они с женой вели с рождения сына, была проиграна, ему не удалось отучить Тимо даже грызть ногти, Тамара впала в истерику, когда увидела, что отец собирается смазать пальцы сына горчицей, вопила, что от подобного изуверства у ребенка может развиваться язва желудка, и Эрвин сдался, он собирался позвать на помощь Софию, чтобы сестра объяснила жене, что опаснее для желудка, горчица или сигареты (Тамара вскоре после бракосочетания начала курить), но работы было много, и он не успел.

Крышка чайника задребезжала, Эрвин поднялся и, перепрыгивая из одного места в другое, совершил целый ряд манипуляций, которые в былые времена он проделывал машинально, одновременно размышляя над очередным судебным делом – сейчас это было невозможно: как только он терял бдительность, терял и равновесие. Потом он сел настолько удобно, насколько это позволяла табуретка, Тамара обожала эти противные предметы мебели, по ее мнению, они помогали «экономить пространство», и притянул ближе стоявшее на дальнем конце стола маленькое круглое зеркало. Прежде, торопясь на работу, он брился, стоя в небольшом проходном помещении для умывания, ванной у них не было, только две каморки, как в плохом ресторане, в заднюю с трудом влез унитаз, а в переднюю – раковина, у которой он и пристраивался; теперь это исключалось, да и куда ему спешить? Кому нужен инвалид?

От собственного вида в зеркале ему стало совсем тошно – заросший щетиной подбородок, равнодушные глаза преследуемого жизнью и сдавшегося ей человека. Соберись духом, Эрвин, *ne cede malis*, сказал он себе и намылил лицо. Бритье оставалось одной из немногих процедур, которая могла бы еще доставлять удовольствие, если бы ее не приходилось осуществлять с помощью лезвий фирмы «Нева», настолько тупых, что даже вены ими не удалось перерезать как следует. Да, останься у него с буржуазного времени английские лезвия, он уже не прыгал бы по «подвалу из слоновой кости», как некогда окрестил свою квартиру, а гнил бы в земле, рядом с отцом (мать была похоронена в другом конце Эстонии). Кстати, задним числом Эрвин уже не находил оправдания своему опрометчивому решению – жизнь дается человеку не для того, чтобы из нее уйти добровольно. Почему он считал, что выхода нет? Выход есть всегда, надо только иметь немного воображения и воли, хорошо бы и две ноги, но и одной немало, по крайней мере, лучше, чем вообще без.

Удары прекратились, послышался топот, дверь распахнулась, и на кухню влетела «кровь от его голубой крови», в майке и в трусиках, с худенькими плечиками и неразвитой грудной клеткой.

– Коплиское «Динамо» ведет в матче против московского «Спартака» 6:2!

Обилие голов потребовало много энергии, щеки сына пылали, на лобике блестели капли пота.

Пыхтя, он схватил с сушилки стакан, но перед тем, как открыть кран, бросил взгляд в сторону Эрвина:

– Фи, отец, ты опять голый!

Недовольный, обвиняющий тон, увенчанный Тамариным любимым «Фи!», резанул Эрвина прямо по сердцу. Конечно, откуда одиннадцатилетнему мальчику знать, какого труда ему стоит одеться? То есть знать он опять-таки мог, если бы Тамара соизволила ему объяснить, но ожидать от нее подобных услуг не приходилось, наоборот, жена нашла в болезни мужа

достаточное основание, чтобы полностью взять сына под свое крыло, под которым в немалой степени, примерно на три четверти, Тимо находился уже давно, можно смело сказать, что с рождения. «Это мой сын, и я буду его воспитывать, как считаю правильным!» – восклицала Тамара при малейших разногласиях, изображая из себя комсомолку, попавшую в плен к гестаповцам, глаза сверкают, голова гордо поднята, надо было быть грубияном, кем-то вроде мопасановского крестьянина, чтобы окриком и при необходимости оплеухой заставить жену повиноваться, но Эрвин был не грубияном, а джентльменом и умер бы со стыда, если бы ударил женщину. Он мог только апеллировать к разуму, но если такового нет? Пришлось отступить, пытаться воздействовать на жену осуждающим молчанием, которое, однако, Тамара воспринимала как слабость. Так Эрвин был отстранен от воспитательной работы и наделен статусом папаши с завихрениями, если не полупомешанного, еще задолго до того, как к этому появился весомый повод.

Несмотря на все, при виде сына им овладело умиление.

– Тимочек, не пей сырую воду – подхватишь инфекцию, – попытался он отговорить мальчика.

– Это не сырая, а просто некипяченая, – возразил Тимо самоуверенно, наполнил стакан, помчался к стенному шкафу, открыл, приложив к тому немало усилий, дверцу, пошарил на полке с бакалеей, достал пачку лимонной кислоты, оставив после себя полную неразбериху, вытянул ящик кухонного стола, позвенел столовым серебром, выудил чайную ложку, отсыпал в стакан немного кислоты, добавил две ложки сахара, размешал с бешеной скоростью, пролив четверть воды на цементный пол, жуткий напиток, который Эрвин, если бы это от него зависело, никогда не позволил бы ребенку даже распробовать, и проглотил все залпом, так что маленькое адамово яблоко задергалось.

– А домашние задания ты уже сделал?

– Я не иду сегодня в школу – у меня шахматные соревнования! – провозгласил сын победоносно, поставил стакан со стуком на стол и побежал обратно в гостиную, откуда сразу же послышались удары мяча об стену.

Эрвин собрался продолжить бритье, но не сразу смог сосредоточиться, его обеспокоили последние слова сына. Что делать, если Тимо уйдет из дому еще не скоро? Он изучил расписание поездов и составил весьма четкий план, малейшее промедление могло оказаться роковым. Но тут от него ничего не зависело, надо было надеяться на удачу. С фортуной его отношения складывались по-разному – с одной стороны, он попал в лагерь, что удачей никак не назовешь, но, с другой, вернулся оттуда живым, что можно было посчитать уже чудом.

Он отбросил тревожные мысли, закончил бритье, накапал на подбородок «Тройного» (наряду с лезвиями одеколон был вторым пунктом, по которому он категорически отказывался понимать советскую власть) и, опираясь на стол, встал. Его ожидало действие, которое он до сих пор с самоиронией называл «поэтическим утренним кофепитием». Таким, прекрасным, наедине с любимой женой, он всегда воображал себе ритуал, который большая часть человечества совершает торопливо и прозаично. Увы, Тамара оказалась как раз сторонницей большинства. «Чего ради я должна накрывать стол в комнате, ты что, не можешь завтракать (обедать, ужинать) на кухне, так ли важно, где ты заполняешь желудок, я что, служанка?»... *etc. etc.* В конце концов Эрвин даже вздохнул с облегчением, когда удалось устроить жену в юридическую школу и совместных застолий стало меньше...

Кофейная мельница висела на стене, вертеть ее ручку было тяжело, и, опустившись наконец снова на табуретку, Эрвин почувствовал легкую усталость, примерно такую, какую раньше испытал бы после полуторачасовой игры в волейбол, – оказывается, стимулы меняются, а ощущения остаются; Фихте это наблюдение, пожалуй, понравилось бы. «Поэзию юности пусть заменит философия среднего возраста», – вспомнил он прочитанную где-то фразу и, найдя в ней утешение, обратил, пока кофе настаивался, внутренний взор на прошлое. За пятьдесят

два года он пережил две революции и две войны, увидел две общественно-политические формации и один лагерь для заключенных... В юности он любил людей, вообще людей, *en masse*, как говорят французы, или скопом, как выражаются русские, но понемногу количество тех, по отношению к которым он осмеливался применить столь весомое слово, стало иссякать и добралось на сегодняшний день до цифры пять: кроме Тимо это были только Герман, София, Виктория и Лидия. Отец и мать скончались, Рудольф умер еще маленьким, Тамара была мертва в духовном смысле... Пять, но зато действительно дорогих людей, которых он никогда бы не покинул, если бы не был уже от них отлучен: Тамара с первого дня брака стала воздвигать стену между ним и его семьей, ей не нравились Буриданы, не нравились как явление – слишком холодные, слишком надменные, слишком уверенные в том, что они чем-то отличаются от других. «Почему вы за столом говорите по-русски и по-немецки?» – возмущалась она. «Надя, жена Германа, не знает эстонского в достаточной степени, а мы по-русски говорим свободно, беседовать на понятном всем языке – это элементарная вежливость, на немецкий же мы иногда переходим, чтобы его не забыть», – объяснял Эрвин. На самом деле это была не единственная причина, но Тамаре все открывать не стоило, жена, несмотря на имя, была эстонкой не только по крови, но и по духу. «Виктория смотрит на меня свысока», – пожаловалась Тамара в другой раз. «Это тебе только кажется. А кажется потому, что ты интуитивно чувствуешь – она образованнее тебя. Учись, тогда однажды сможешь общаться с ней на равных», – попробовал вразумить ее Эрвин, но безрезультатно, Тамара была убеждена, что она и так, безо всякой учебы, умнее всех.

Закончив пить кофе, Эрвин взял костыли и заковылял обратно в спальню. Широкая кровать из орехового дерева стояла изголовьем вплотную к подоконнику, при северном ветре извне на нее изрядно дуло, но другого места не нашлось, на стене висела подобная чудовищу из ночного кошмара большая батарея, как объяснил Герман, иначе обеспечить нормальную циркуляцию было нельзя. Эрвин вспомнил воскресные утра первых совместных лет, когда на работу ему идти было не надо и они долго нежились в постели, позже, когда родился Тимо, или, вернее, когда он немного подрос, сын стал перебираться из своей кроватки сюда, влезая между родителями. Тогда он был маленький и доверчивый, сейчас же... В спальню он, по крайней мере, уже носа не совал, эта комната стала для Эрвина тюремной камерой, где он проводил не только ночи, но и дни. Конечно, время от времени он все же заходил в гостиную, сидел по полчаса за письменным столом, читал газеты, звонил Лидии, иной раз даже открывал ящик, вытаскивал переводы, Блока, Есенина, листал, исправлял кое-где слово или два, но долго он там оставаться не мог, только пока Тимо был в школе, чтобы «не пугать ребенка», как говорила Тамара. И подумать только, что он сам дал возвести перегородку, которая теперь отделяла его от сына!

Когда они здесь поселились, квартира, ранее клуб дома, состояла из одного большого помещения, он с энтузиазмом стал все перестраивать, разумеется, не собственноручно, сам он, как саркастически констатировала Тамара, не умел даже вбить гвоздя в стену.

«А зачем мне это, я зарабатываю достаточно, чтобы платить мастерам!» – парировал он нападки жены, в груди которой при всех ее аристократических амбициях билось пролетарское сердце – все-таки дочь плотника. Денег в то время действительно хватало, даже советская власть не умела превратить адвоката в нищего, а он, ко всему прочему, был востребованным адвокатом, голова у него работала, и он быстро выучил новые, социалистические, законы, чего многие коллеги постарше уже сделать не смогли или не захотели. Дополнительный доход приносили переводы, литература после войны обзавелась богатым меценатом в лице государства, людей, знающих иностранные языки же, осталось немного: кто умер, кто сбежал. Он, Эрвин, конечно, филологом не был, до уровня Виктории не дотягивал, но немецким и русским владел свободно, да и кое-каким литературным талантом вроде обладал, поэтических переводов он издательству предлагать не смел, этим он занимался для собственного удовольствия, но

романы – да. Словом, он работал беспрестанно, днем в юридической консультации, вечером дома, но зато недостатка денег в семье не знали, квартиру отремонтировали, купили мебель... Тамаре, правда, здесь все равно не нравилось. «Я что, крыса, что должна жить под землей!» – фыркала она, но на это Эрвин мог только развести руками: «Ты прекрасно знаешь, сколько домов во время войны сгорело, я думаю, нам еще повезло, многие ютятся в бараках. В конце концов, это же не совсем подвал, посмотри, когда дворничиха подметает двор, ее голова на одном уровне с твоей. Рекомендую относиться к ситуации по-философски. Важно не то, где ты живешь, а как. Давай построим себе здесь подвал из слоновой кости!» Но жена не хотела относиться «по-философски». «Не вижу тут ничего из слоновой кости», – пожалала она демонстративно плечами и немного смирилась, только когда Эрвин повез ее на такси в Пирита загорать, а потом в ресторан, он пытался заманить жену и в оперу, но Тамара заупрямилась, ей нравились только оперетты, которые, в свою очередь, терпеть не мог Эрвин. «Наша, Буриданов, главная проблема в том, как избежать духовного мезальянса», – буркнул как-то Герман, и Эрвин был вынужден признать, что брат прав.

Он пошарил костылем под кроватью и вытащил рюкзак, который уже вчера принес из подвала и спрятал здесь, ничем особенно не рискуя, поскольку Тамара убирала квартиру раз в неделю, по субботам. Итак, что ему могло понадобиться в пути? Когда-то он был одним из самых элегантных мужчин Таллина, но это осталось в прошлом. Надо брать только самое необходимое – как 14-го июня¹. Смена белья, вторая пара брюк, сорочки... Они, конечно, помнутся в рюкзаке, но ничего, он погладит, он умел заботиться о своей внешности, все-таки столько лет холостяцкой жизни. Галстуки, носовые платки... Он вспомнил, как улыбнулись оба майора, и тот, который пришел его арестовывать, и другой, сосед по нарам, увидев запас его галстуков. «Эрвин Александрович, – спросил товарищ по судьбе, – почему вы вместо этих аксессуаров не взяли с собой чего-то съестного, разве вы не знали, куда вас везут?» – «Нет, не знал», – ответил он простодушно. «Где же вы жили-то, за границей, что ли» – продолжил майор, и Эрвин печально кивнул: «Да, за границей». Кстати, галстуки он в итоге продал одному одесскому «королю воров», вернее, обменял их как раз на «съестное» и в намного большем количестве, чем мог бы прихватить с собой в дорогу, что доказывало: в любой ситуации главное – оставаться самим собой.

Он разложил рюкзак на кровати и принялся укладывать вещи. То, что раньше заняло бы четверть часа, теперь заметно затянулось, держать гардероб открытым он не хотел, вдруг Тимо зайдет в спальню и увидит, чем он занимается, но это добавило хлопот. В шкафу висели и костюмы, четыре идеально сшитые «тройки», торжественный, повседневный, сако и светлый, все вышло из-под иглы опытного портного буржуазного времени, теперь тайком работавшего на дому, но вот взять их с собой Эрвин никак не мог. К счастью, он обладал одним полезным качеством – умел приспосабливаться, по крайней мере, что касалось одежды, он не видел проблемы в том, чтобы сменить пиджак на спортивную куртку или шляпу на кепку. Умел бы он такое и в отношениях с людьми! Увы, тут все обстояло прямо противоположным образом, внутренняя гордость не позволяла ему говорить то, что выгодно, только то, что он думал. Исключение составляли женщины, им Эрвин никогда не открывал своих настоящих мыслей, боясь их задеть. Ошибка, конечно, но он ничего не мог с собой поделать: уважительное отношение к слабому полу было у него в крови.

Задумавшись, он чуть не поскользнулся на свеженатертом паркете (одна из немногих домашних работ, которой Тамара предавалась с упоением, жене, выросшей в простом деревянном домике с дощатым полом, лъстили столичные изыски), смог, правда, в последнюю секунду ухватиться за кровать и устоять на своей единственной теперь ноге, но один из костылей с гро-

¹ 14-го июня 1941 года началась депортация десяти тысяч эстонцев в соответствии с «Директивой НКВД СССР о выселении социально чуждого элемента из республик Прибалтики, Западной Украины и Западной Белоруссии и Молдавии».

хотом упал на пол. Он тревожно прислушался – не обратил ли на это внимания Тимо? Но нет, за перегородкой продолжался футбольный матч, удары мяча, затем дикие вопли, когда сыну в качестве вратаря удалось сделать успешный бросок в нижний угол ворот, и Эрвин успокоился. Когда он наконец застегнул ремни рюкзака и бросил взгляд на стоявший на тумбочке будильник, было уже без пятнадцати час. Через полчаса должны были начаться уроки, но в школу сын, как недавно выяснилось, сегодня не собирался. С одной стороны, Эрвину нравилось, что Тимо занимается шахматами, он сам научил сына ходам, но, с другой, не следовало, по его мнению, устраивать соревнования во время уроков, ведь даже самая умная игра не может заменить знания. Тамара со своей деструктивной сущностью этого опять-таки не понимала, она сама любила всякие игры, шахматы для нее были, конечно, слишком сложны, но она частенько сражалась с Тимо в карты, в подкидного, марьяж и шестьдесят шесть. Когда-то и Эрвин забавлялся бриджем, но сейчас он считал это напрасной тратой времени, жизнь и так коротка. Почему бы жене вместо того не учить сына немецкому, свободно, как Эрвин, она этим языком, конечно, не владела, но немного говорила, хвастала, что во время войны ходила на танцы с немецкими офицерами, один из них даже, когда началось отступление, звал ее с собой, по какой причине приглашение не было принято, Эрвин не знал, наверно, офицер не проявил достаточной настойчивости, не стал перед ней на колени, как Эрвин, старомодный жест, о котором он впоследствии нередко жалел, так же как Тамара жалела, что не воспользовалась случаем и не удрала из страны, по ее выражению, «вонючих москвитов». Святая простота, неужели она думала, что на Западе ее кто-то ждет? Хотя, бог весть, самоуверенность жены была настолько непоколебима, что вполне можно было представить ее женой какого-то американского миллионера.

В конце концов, разве она не загипнотизировала и Эрвина? Что она из себя представляла – секретарша суда в маленьком городке, но, несмотря на это, сумела настолько вскружить голову приехавшему на сессию столичному адвокату, что тот, вернувшись домой, лишился сна, уже через неделю заказал междугородный разговор и позвал «милую провинциалочку», как он ее про себя называл, в гости. До конца своих дней он не забудет, как Тамара в демисезонном пальто и берете вышла из вагона и посмотрела на него изучающе – товарищ Буридан, а у вас серьезные намерения? Эрвин чуть было не заявил тут же, на перроне, естественно, серьезные, поедом прямо в загс, им заведует моя однокурсница, она раз-два все оформит; кстати, всего лишь через час, после «романтического утреннего кофе», на прогулке по парку под Вышгородом именно так и случилось, коленопреклонение в том числе, о чем жена ему по сей день напоминала, если что-то, по ее мнению, не соответствовало данному тогда обещанию «носить невесту на руках до гробовой доски».

Сев на край кровати, Эрвин взял со стула протез и стал его прилаживать к ноге или, вернее, тому, что от нее осталось. Делать это следовало сосредоточенно, не совсем аккуратно затянешь ремень, и сразу натрет бедро, а ведь протез был современный, с кожаным футляром, еще недавно пришлось бы довольствоваться намного более примитивной «деревяшкой». Да, прогресс чувствовался везде, в небе и там уже летали спутники – единственный, кто не совершенствовался, был сам человек, каким никчемным он был несколько тысяч лет назад, таким и остался.

Эрвин и не заметил, что удары мяча за перегородкой прекратились, лишь когда в прихожей хлопнула дверь, он поднял голову и прислушался. Было тихо, только вода булькала в батареях – наверно, делали ежегодную проверку отопления. Тимо ушел, не прощаясь, что, с одной стороны, огорчало, но с другой, означало, что путь открыт. Если б только Тамара не пришла на обед домой... Обычно она перекусывала в заводской столовой, ссылаясь на то, что много работы, но Эрвин знал, что жена преувеличивает, он ведь сам после ухода из адвокатуры занимал эту должность. Юрист предприятия – подумаешь, работа! Пара претензий в неделю да просмотр приказов директора, у него это никогда не отнимало больше часа. «Не мерь всех

на свой аршин, у тебя высшее образование и огромный опыт, а мне на каждую бумагу приходится тратить массу времени, особенно если она на русском», – оправдывалась Тамара, когда Эрвин удивлялся, почему она так поздно приходит домой, тем более что иски посложнее жена все равно приносила с собой, чтобы он помог ей в них разобраться. Причина была в другом: Тамаре просто не хотелось сидеть с больным мужем. Раньше это огорчало Эрвина, но сегодня облегчило ему задачу: когда Тамара вернется, он будет уже далеко.

В конце концов он остался доволен положением протеза, встал, взял костыли (можно было ограничиться палкой, но он хотел сэкономить силы) и двинулся заметно увереннее, чем раньше, не прыгая, а словно скользя через кухню и прихожую в гостиную – была и дверь между комнатами, но Тамара загородила ее комодом. Правда, чтобы войти, пришлось помучиться – Тимо пододвинул диван к самой двери, чтобы тот не мешал атакам коплиского «Динамо». Протиснувшись сквозь узкую щель, Эрвин увидел примечательное зрелище – даже НКВД во время памятного обыска не удалось устроить подобный беспорядок. Обеденный стол затолкнут в угол, стулья водружены на него, большая картина снята со стены, что само по себе похвально, все-таки какая-то мера предосторожности, но тогда уж следовало повернуть ее лицом к стене, чтобы защитить еловый лес от ударов мяча... Живописцу удалось уловить нечто в высшей степени типичное, каждый гость, бросив на картину один лишь взгляд, принимался утверждать, что это пейзаж его родного края. От перестановок была та польза, что Эрвину не пришлось ковылять вокруг стола, он мог пройти прямехонько через пустой центр комнаты в угол под окном, где стояли письменный стол и большой, в три секции, книжный шкаф. Сердце забило сильнее, когда он открыл среднюю стеклянную дверцу шкафа – а что, если Тамара обнаружила его «сейф»? Хотя вряд ли жена промолчала бы об этом, наверняка выпустила бы в Эрвина целый колчан ядовитых стрел: «Ах вот как, ты тут прячешь целое состояние, в то время когда твоя жена вкалывает изо всех сил, а сын ходит в лохмотьях! Тебе не стыдно, твоей пенсии хватает разве что на картошку!» Это было правдой, по крайней мере, частично, но надо учесть, что, пока Эрвин был здоров, он кормил жену икрой. К счастью, опасность была невелика, поскольку Тамара открывала книжный шкаф редко, круг ее чтения ограничивался в основном газетными фельетонами. «Времени нет, вот когда выйду на пенсию, прочту всего Бальзака!» – говорила жена с энтузиазмом, но в ее словах было нечто от обещаний алкоголика: «С завтрашнего утра – ни грамма». Эрвин был убежден, что Бальзак так и останется для Тамары *terra incognita*, хорошо еще, что жена не презирала культуру как таковую, а даже испытывала легкие угрызения совести оттого, что ей не хватает интереса и воли, чтобы читать серьезные книги, культура – это ведь постоянная самодисциплина. Иногда Тамара все-таки бралась за тот или иной роман, не за Бальзака, конечно, но полегче, «Эрроусмит» или «Цитадель», и, когда добиралась до конца, ощущала неодолимую потребность рассказать, с каким замечательным произведением она ознакомилась, всем, даже Буриданам, что Эрвина всегда смущало; Виктория с ее огромной эрудицией, слушая откровения невестки, прятала улыбку. Сестра наверняка сказала бы сразу и в каком томе собрания сочинений искать «Утраченные иллюзии» – Эрвин этого не помнил, но интуитивно протянул руку к самому толстому, и не ошибся. Он нервно перелистывал страницы, пока примерно в том месте, где Люсьен Рюампрэ увязает в долгах, не появились разноцветные купюры. Онигодились бы и самому Люсьену, но ему мы их не отдадим, все равно растратит, подумал Эрвин. Он тоже не был скупердям, но жизнь его многому научила, и, когда вышел его первый перевод, он купил Тамаре каракулевую шубу, остаток же припрятал на «черный день». Теперь этот день настал.

Положив извлеченные из «Иллюзий» деньги на стол, Эрвин потянулся за следующей книгой, Рюампрэ был не единственным, кто охранял его имущество, часть гонораров он доверил совершенно опустившемуся типу, убийце Раскольникову; хотя в конце концов тот все-таки пожалел о содеянном и стал вроде честным человеком. Кто знает, будь у него денежки Эрвина, возможно, он и не подумал бы махать топором, закончил бы университет и стал уважаемым

гражданином, например профессором юриспруденции. И не было бы у нас «Преступления и наказания»... Таким образом, в итоге то, что у Раскольникова не оказалось таких крепко стоявших на земле родителей, как у Эрвина, и его молодость прошла в бедности, обернулось-таки большой удачей.

Секунду спустя Эрвин вздрогнул – рядом с ним зазвонил телефон. Страху Раскольникова, услышавшего, будучи в квартире, где лежали два трупа, звонок в дверь, теоретически следовало бы оказаться сильнее, но Эрвин обладал особо чувствительной нервной системой, болезненно реагировавшей на малейшие раздражения. Неужели кто-то следил за ним, например соседи из квартиры напротив? При современном развитии техники этого не исключишь, в том крыле было три этажа, на первом, то есть в таком же полуподвале, жил дворник с женой, на третьем – супружеская пара глухонемых, в отношении них у Эрвина подозрений не было, но вот на втором этаже недавно поселился новый жилец.

Телефон продолжал звонить – а что, подумал Эрвин, если это Тамара, которая хочет проверить, дома ли еще Тимо? Если не брать трубку, жена может подумать, не случилось ли чего, и поспешить домой.

Он сел за стол, в кресло с дугообразной спинкой, в котором когда-то часами корпел над переводами, и взялся за эбонитовую трубку.

– Эрвин?

Низкий, немного хриплый голос Лидии был полон тоски, и Эрвин сразу почувствовал себя сильным старшим братом.

– Привет, сестричка!

Лидия стала извиняться, что побеспокоила Эрвина, тому ведь трудно добираться до телефона из другой комнаты, но Эрвин ее быстро прервал, сказав, что это вообще не проблема, и спросил, почему она не в духе.

– У Пауля начался учебный год, я позволила ему на пару дней задержаться в городе, но вчера пришлось его все-таки отправить. Если бы ты видел его лицо! Он ничего не сказал, но в его взгляде была такая печаль, что я чуть было не сказала ему: останься. Но что мне с ним здесь делать? Ты же знаешь, Эрвин, я даже с собой не справляюсь, что еще говорить о сыне.

– Успокойся, все нормализуется. У него сейчас просто самый трудный возраст.

– Умом я это понимаю, но душа сопротивляется. Эрвин, скажи, почему жизнь настолько несправедлива? Почему Густав ушел так рано?

– Лидия, ты же большая девочка, ты должна знать, что самая тяжелая судьба у тех, кто больше думает о других, чем о себе. Их ненавидят все – и те, с кем они борются, и те, во имя которых они это делают.

– Ох, Эрвин, как красиво ты умеешь утешать! Но я все про себя, совсем забыла спросить, как ты себя чувствуешь?

– Отлично. Днем читаю, слушаю радио, если хорошая погода, выхожу погулять, вечером учу Тамару юриспруденции, составляем вместе исковые заявления, типа, почему тара, отправленная Таллинскому холодильному заводу, не соответствует ГОСТу.

– Голова не болит?

– Изредка. Когда болит, принимаю лекарство.

Он знал по опыту, что о своих подозрениях не стоит говорить даже Лидии.

– Какой ты мужественный, знаю, мне бы брать пример с тебя, но я не в силах...

Они поговорили еще немного, потом Лидия заспешила: у нее была назначена лекция в Союзе художников, – и они простились. Положив трубку, Эрвин с горечью подумал, что да, сначала Лидии повезло, лет десять она была настолько счастлива, насколько это вообще дано женщине; но судьба не терпит, когда у кого-то все идет слишком хорошо, и у Лидии разом отняли все, то есть Густава, поскольку муж и был для нее всем. Натура попроще скорбела бы годик-другой, максимум три, а потом вернулась к более или менее нормальному существо-

ванию, но романтическая, всегда готовая на самопожертвование Лидия так и не оправилась от удара, когда-то она безумно влюбилась в человека на дюжину лет старше себя, который много лет провел в тюремной камере для политзаключенных, и теперь не могла смириться с мыслью, что его уже нет.

Эрвин засомневался – а имеет он право бежать, оставив сестру? Лидия была хрупким, нервным созданием; не справившись с воспитанием своего единственного сына, отправила Пауля прошлой зимой в интернат, Эрвин, даже будучи инвалидом, чувствовал себя сильнее сестры и в нормальной обстановке никогда бы ее не бросил, но сейчас, когда его, возможно, медленно убивали, он просто не видел другого выхода. Он обещал себе, что, доехав до пункта назначения, сразу напишет Лидии, он не сомневался, что сестра не выдаст его.

Приняв решение, Эрвин успокоился. Наконец, последнее. Его охватила нервная дрожь – на месте ли его записки? Он открыл правую дверцу стола, нагнулся и вытянул нижний ящик. Неделью назад они еще лежали здесь, но КГБ, как любил говорить майор, не дремлет. Руки тряслись, когда он рылся в бумагах, но в конце концов из-под писем Софии появился знакомый блокнот.

Закрыв дверцу, Эрвин хотел уже встать, но вдруг заметил на столе школьную тетрадь фиолетового цвета. Интересно, по какому это предмету, подумал он, поднес ее поближе к глазам и увидел, что на обложке небрежным почерком Тимо нацарапано что-то странное: «Чемпионат Советского Союза по футболу».

Эрвин открыл тетрадь и обнаружил внутри турнирную таблицу, нарисованную кое-как, без линейки. Названия команд соответствовали настоящим, разве что часть из них играла в лиге А, а часть – в лиге Б, но результаты! «Металлург» из Рустави забил в ворота ЦСКА целых двенадцать мячей, не пропустив в ответ ни одного, Ленинканский «Ширак» и Фрунзенская «Алга» сыграли вничью 4:4... Немного поискав, Эрвин нашел и окончательный счет сегодняшнего матча – коплиское «Динамо» разгромило московский «Спартак» аж со счетом 9:3.

Надо было срочно выбираться из этого сумасшедшего дома, и Эрвин потянулся за костылями.

Глава вторая

Виктория, богиня победы

– Мама, тебя к телефону!

Перед тем как открыть дверь, Моника вежливо постучала – стало быть, в этом отношении за пять лет ничего не изменилось; остальное выяснится постепенно.

Виктория надела на ручку колпачок, положила ее рядом с рукописью и встала; стул недовольно скрипнул – все, на что способен предмет мебели, а намного ли большими возможностями располагает человек?

– Кто звонит?

– Тетя Тамара.

В висках запульсировало, но Виктория отогнала тревогу – бессмысленно волноваться авансом. Дочь следовала за ней чуть в стороне, как тень, они прошли по коридору до прихожей, затем Моника деликатно проскользнула в свою комнату, Виктория же – судьба среднего возраста – отвечать за всех, как за тех, кто моложе, так и за тех, кто старше, – протянула руку к трубке, беспомощно лежавшей на темно-зеленой скатерти, которой был застелен узкий столик под большим зеркалом. Точно так же она дожидалась ее здесь и в ту страшную ночь, когда тоже позвонила Тамара.

– Я слушаю.

– Виктория?

Голос невестки звучал мрачно, почти зловеще.

– Что-то не так?

Виктория пыталась сохранить беззаботный тон, но в ее голове беззвучно кричала маленькая девочка, которой она когда-то была и в каком-то смысле оставалась и сейчас: «Дай бог, чтобы с Эрвином ничего не случилось, пусть это будет обычный приступ, я пойду и успокою его, главное, чтобы не произошло чего-то непоправимого».

– Да, не так. – Тамара не торопилась, она сделала паузу, как актер перед особо драматичной репликой, и затем добавила раздраженно: – Эрвин исчез!

Виктория облегченно вздохнула – это еще не так страшно, это оставляло надежду. Надежду? На самом деле надежда исчезла раньше Эрвина.

– Что значит исчез? – спросила она серьезно, даже строго – с истеричками иначе нельзя, к ним надо относиться требовательно.

– Когда я пришла с работы, его не было.

– Может, пошел в магазин? Или в баню?

– В баню?

Тамара выдержала еще одну паузу; можно было, конечно, рассердиться, прикрикнуть, мол, что ты тянешь, почему не говоришь всего сразу; можно было, но не стоило. Тамару надо было понять, молодая провинциалка, думала, что сделала хорошую партию, солидный человек, столичный адвокат, а теперь приходится ухаживать за инвалидом.

– Он взял с собой весь свой гардероб! – выпалила та наконец и разрыдалась.

Кое-чему невестка у Эрвина все же научилась – брат никогда не говорил: «моя одежда», только «мой гардероб».

– Что именно? – спросила Виктория мягко, почти по-матерински.

– Сорочки, белье, носки, вторую пару брюк, – перечисляла Тамара, всхлипывая. – Опустил даже вешалку с галстуками! Паспорт и свидетельство об инвалидности, естественно, тоже исчезли. На кухонном столе оставил записку: «Поехал в Ригу начать новую жизнь». Разве он не сумасшедший?

В этом Тамара, увы, была права.

– А Тимо не видел, как он уходит?

– Нет, он был на шахматных соревнованиях, мы пришли почти одновременно, он, возможно, минут за десять до меня. Что мне теперь делать? Где мне его искать? Я не могу поехать за ним в Ригу, у меня даже денег на это нет.

Прозрачный намек, что Виктория не внесла еще ежемесячное «пособие».

– Тебе и не надо никуда ехать, вряд ли это письмо соответствует действительности, сама подумай, что Эрвину делать в Риге, у него там никого нет. А где он взял деньги на билет?

– Исчезли его золотые часы.

– Не думаю, чтобы он стал их продавать, ты же знаешь, это подарок отца, Эрвин очень ими дорожит. Так что не волнуйся, далеко он не уехал, скорее всего, просто отправился к Софии.

– Может, ты позвонишь ей?

– Я бы не хотела ее тревожить, София будет нервничать.

– Наверно, мне следует обратиться в милицию?

Виктория напряглась.

– В этом нет никакой необходимости. Да, Эрвин не здоров, но опасности для общества он не представляет, – сказала она резко, сразу пожалела о своем тоне и добавила: – Если очень хочешь, я позвоню Софии.

– Спасибо, Виктория, не знаю, что бы я без тебя делала.

Распрощавшись, Виктория сразу же заказала междугородный разговор, и тут в дверях снова возникла Моника:

– Мама, что-то случилось?

Почему девочка так взволнована?

– Ничего особенного, Эрвин пропал куда-то, Тамара беспокоится.

Когда с Эрвином случилось несчастье, дочь была в Москве и потому восприняла все довольно абстрактно – молодежи не хватает эмпатии.

– А почему она считает, что дядя поехал в Ригу?

– Он оставил записку.

Глаза Моника за сильными очками замигали.

– Мама, это моя вина, – сказала она упавшим голосом. – Я видела его и даже говорила с ним, но не поверила, что он всерьез.

Ах вот оно что!

– Я встретила дядю на углу Тарту-маанте, я возвращалась из булочной, он был одет очень нарядно, в демисезонном пальто, в шляпе, с белым шелковым шарфом, но почему-то с рюкзаком на спине. Я спросила, куда он собрался, он ответил: «В Ригу, на балет». Я подумала, что он шутит, у него был хитрый вид, я давно не видела его в таком хорошем настроении. Вот я и пошутила в ответ, зачем, мол, в Ригу ехать, разве в Таллине нет балета? А он объяснил, что у эстонского балета уровень слишком низкий. Потом я еще поинтересовалась, не трудно ли ему будет добираться одному в такую даль, он сказал, что нет, новый протез хорош, а к костылям он привык. Мне стало стыдно, что я задала такой бестактный вопрос, и я быстро простилась.

– Почему ты мне сразу об этом не сказала?

– Вы с отцом оба были на работе, я стала проявлять фотографии и забыла, только сейчас, когда позвонила тетя Тамара, вспомнила... Представь себе, мама, я еще пожелала ему счастливого пути! Боялась, он сочтет, что я не понимаю шуток.

Дочь была явно не в себе, стесняется, подумала Виктория, это хорошо, что стесняется, стыд – самое красивое из человеческих чувств.

– Я думаю, он действительно пошутил, – сказала она. – Что ему делать в Риге, у него там никого нет.

Она отправила Монику на кухню ставить чайник и, поскольку из междугородной все не звонили, пошла в гостиную. Арнольд сидел на диване и при свете торшера читал «Рахва Хяэл». Раньше муж был малотребовательным, мог расположиться где угодно, даже если собирался работать, освободите уголок любого стола, и ладно, но в последнее время он стал устраиваться поудобнее. Годы, подумала Виктория, массивный череп мужа давно блестел, широкие плечи обвисли, даже чересчур, учитывая небольшой рост, а без очков он не мог уже ни ходить, ни читать, однако же присущие ему спокойствие и хладнокровие сохранил. Виктория ценила уравновешенность мужа, его трезвость и особенно тот стоицизм, с которым Арнольд относился к ее неожиданной карьере, при его недюжинном уме муж тоже мог бы многого добиться, но в свое время ему пришлось бросить университет, после войны, правда, он поступил на заочное отделение, закончил его и даже начал писать диссертацию, но вдруг понял – поздно! Успеху Виктории он не завидовал, наоборот, радовался, что поступления в бюджет семьи все растут, теперь, когда сыновья отправились учиться, это было немаловажно.

– Хрущев опять едет на сессию ООН, читала? Как я понимаю, он окончательно решил повернуть Америку на социалистический путь, – сказал Арнольд, подняв взгляд от газеты и заметив жену.

У Виктории, однако, не было настроения подтрунивать над Хрущевым.

– Эрвин исчез. Уложил, как выразилась Тамара, весь свой гардероб, галстуки в том числе, в рюкзак, надел шляпу и оставил записку, что отправляется в Ригу начинать новую жизнь.

– В Ригу? – тихо засмеялся Арнольд.

Казалось, новость его всего лишь забавляет, теоретически, возможно, это и было забавно, надо же, что опять натворил безумный шурин, но Виктория знала, что на самом деле у мужа доброе сердце, возможно, даже слишком доброе для мужчины.

Вот он уже и посерьезнел, сложил газету и сменил очки:

– Тамара в милицию не сообщала?

Виктория села на стул – рядом стоял диван, но ей не нравились мягкие сиденья, они убаюкивали, расслабляли, разрушали рабочее настроение.

– Хотела, но я отсоветовала.

– Почему?

– Эрвин не настолько болен, чтобы с ним могло случиться нечто серьезное.

Сказав это, она сразу поняла, что сама своим словам не верит; вот и Арнольд мгновенно нашел слабое место в ее утверждении:

– Однажды, по-моему, уже случилось.

– Для того чтобы повторить случившееся, необязательно пускаться в дорогу.

Виктории не нравилось, когда сомневались в ее аргументах, даже если сомневался муж, поэтому последнее предложение прозвучало – она и сама это услышала – резче, чем стоило бы.

– Я вообще не думаю, что эта записка правдива, – продолжила она миролюбивее, – что ему делать в Риге, у него там нет ни друзей, ни знакомых.

– Может, он поехал к Софии?

Викторию порадовало, что мужу пришла в голову та же мысль, что ей.

– Я тоже на это надеюсь. Уже заказала междугородный, скоро выясним.

Пришла Моника, сказала, что вода кипит, Виктория поднялась и пошла накрывать вместе с дочерью на стол. Все время ужина она была рассеянна, в голову лезли всякие мысли про Эрвина, даже воспоминания детства, как они в Москве во время Гражданской войны собирали по дворам куски досок, дабы было чем топить плиту. Словно брат умер! Конечно, некоторые основания так считать она имела, человека делает таковым его разум, и с этой точки зрения Эрвин действительно был уже не тот, что раньше. Нет, и сейчас с ним можно было обсуждать самые сложные темы, от литературы до мировой политики, только вот в какой-то момент брат мог ляпнуть нечто такое, чего здоровый человек никогда не сказал бы. И это он, один из самых

умных, самых образованных людей своего поколения! Кого в этом винить, Сталина или судьбу, Виктория не знала, возможно, Сталин и был судьбой их всех, тех, кто когда-то мечтал о лучшей жизни.

Телефон зазвонил только тогда, когда ужин близился к концу и они уже пили чай со свежим вареньем из черной смородины. Разговаривать с Софией по телефону было, как всегда, мучительно, надо было буквально кричать и повторять каждое предложение по нескольку раз, пока сестра не услышит и не поймет. Нет, в Силла Эрвин не приехал, по крайней мере, пока, последний поезд еще не прибыл. Как Виктория и боялась, голос Софии, когда новость об исчезновении брата дошла до нее, явственно задрожал. Про Ригу Виктория вообще говорить не собиралась, но София сама спросила, не оставил ли Эрвин записки, и пришлось сказать.

– В Риге жил деловой партнер папы, Менг, – вспомнила София. – Когда я ехала в Германию, он встретил меня на вокзале и провел со мной два часа до отхода берлинского поезда, повез в кафе, угостил мороженым.

Когда София начинала о чем-то говорить, остановить ее было невозможно. Она успела еще поведать, что у Менга была глухонемая сестра, которая за ним ухаживала, и только после этого заметила, что все это явно не относится к делу, поскольку Менг давно умер. Они договорились, что, если Эрвин вдруг приедет на последнем поезде, София сама позвонит Виктории, обещали друг другу, что, как бы ситуация ни развивалась, встретятся в воскресенье на дне рождения Германа, и распрощались. Дав отбой, Виктория на минуту задумалась. У Германа телефона не было, ему она позвонит завтра, на работу, Лидию же, зная, в каком состоянии нервы младшей сестры, она предпочла бы пощадить, но вспомнила, насколько Эрвин был близок именно с Лидией – она, Виктория, в детстве даже ревновала его, – вспомнила и передумала.

– Лидия?

– Виктория? Я как раз думала о тебе, богиня победы.

Богиней победы Викторию стал называть Герман после того, как она, будучи еще совсем ребенком, выиграла у отца партию в шашки и впала в такой восторг, что бегала по квартире и кричала: «Я победила! Я победила!» Поддразнивание Германа подлило еще больше масла в огонь, Виктория нашла в книге по истории искусств изображение Ники Самофракийской, соорудила себе из вешалок и простыней огромные крылья и однажды, когда Герман и София вернулись из школы, ошарашила их – влезла в прихожей на стул, замахала крыльями и завопила: «Я – богиня победы, берегитесь меня, не то никогда ничего не выиграете!» Кто тогда мог подумать, что примерно так все и будет?

– Лидия, ты Эрвину не звонила на днях?

Выяснилось, что даже не на днях, а именно сегодня.

– Виктория, у меня такое ощущение, что он выздоравливает. Мы болтали довольно долго, и он все это время говорил совершенно разумно. Мне вообще кажется, что врачи преувеличивают его болезнь. Я знаю, на чем они основываются, дескать, если человек совершает попытку покончить с собой, значит, он ненормален, но я в этом сильно сомневаюсь. Возможно, именно самоубийцы и есть нормальные люди, а мы, все остальные, ненормальные...

– Лидия, Эрвин пропал, – прервала Виктория монолог сестры.

Лидия, как и София, говорила обычно долго, но, в отличие от старшей сестры, еще и сбивчиво.

– В каком смысле «пропал»? – не поняла Лидия.

Виктория рассказала о случившемся и услышала, как Лидия заплакала. Она рассердилась на себя, все-таки не стоило той звонить, София хоть и тоже расстроилась, однако сохранила самообладание, сверхчувствительная Лидия же при малейшем намеке на несчастье теряла голову.

– Ты не заподозрила, что у него могут быть подобные идеи? Может, он намекнул тебе, куда собирается податься? – постаралась она трезвыми вопросами привести сестру в чувство,

это в какой-то степени удалось, но сказать про замыслы Эрвина Лидия ничего не могла, он ни на что подобное даже не намекал.

Дав отбой, Виктория еще раз позвонила Тамаре, узнала, что Эрвин не вернулся, и обещала зайти к невестке завтра, чтобы обсудить ситуацию. Тамара немного успокоилась и новость, что в Силла Эрвина нет, восприняла стойко. Пожелав ей спокойной ночи, Виктория решила временно прервать поиски, надо было закончить оставшуюся на половине главу, подготовить завтрашнюю лекцию, еще и обдумать, что точно сказать ректору относительно кафедры французского языка; но когда она положила трубку, в дверях появилась Моника с какой-то малоформатной брошюрой в руках:

– Мама, я посмотрела расписание. Если дядя Эрвин действительно собирался в Ригу, он может быть еще на вокзале, поезд отходит только через сорок пять минут. Конечно, он мог поехать в Тарту и там пересесть, но я бы на его месте выбрала прямой путь...

Дочь заразилась всеобщей нервозностью и чувствовала себя виноватой из-за того, что дала больному дяде беспрепятственно уйти прочь.

– Я вообще не верю, что он поехал в Ригу, ему там, я уже сказала, нечего делать, – прервала Виктория ее рассуждения.

Моника молча посмотрела на мать – серьезная, скорее коренастая, чем полная, в сильных очках, она была почти копией Арнольда.

– Но разве в отношении дяди такая логика работает, он же... – попыталась она аргументировать свое предположение, последнего, решающего слова все же не осмеливаясь произнести.

– Душевнобольной? – закончила Виктория сама с ледяным спокойствием. – Да, это верно, но именно душевнобольной, а не дурак. Дураков в нашей семье нет.

Она чуть было не сказала – среди нас, Буриданов, но в последнюю секунду выбрала другую формулировку, дочь могла неправильно истолковать ее слова, Моника ведь была не Буридан, а Лоодер, как Арнольд, да и сама Виктория была Лоодер, но в душе она все равно причисляла себя к Буриданам, и не только потому, что не любила лентяев².

Глаза дочки заморгали, и Виктория поняла, что допустила ошибку – когда молодежь стремится проявить добрую волю, нельзя ей препятствовать. К тому же для успокоения совести не грех предпринять и лишнее усилие.

– Хотя, кто знает, может, ты и права. Быстро собирайся, поедem...

Им повезло, едва они вышли из дому, как Моника заметила зеленый огонек такси. До вокзала доехали молча, Виктории не любила обсуждать при посторонних и менее серьезные проблемы. Эрвина, конечно, нигде не было, поезд уже стоял на перроне, они проверили все вагоны, заглянули в здание вокзала, в зал ожиданий, к кассам и даже в ресторан. Когда они, лавируя между лужами, уже шли к трамвайной остановке, Моника неожиданно спросила:

– Мама, а что, собственно, случилось с дядей? То есть я знаю, что он пытался покончить с собой, но как это произошло?

– Он перерезал себе вены, его спасли, но он потерял много крови, и пришлось ампутировать ему ногу.

– Да, но почему?

– Этого никто не знает. Возможно, он почувствовал, что его душевное здоровье ухудшается. А может, наоборот, не почувствовал.

– Мне так жаль его, раньше он был совсем другим человеком – веселым, оптимистичным, спортивным. Я никогда не подумала бы, что с ним может случиться такое.

– Его здоровье разрушил лагерь.

² Лоодер (Looder) – лодырь (по эст.).

Моника, кажется, намеревалась развить тему, но подъехал трамвай, они вошли в вагон, и там, в толкотне, разговаривать было совершенно невозможно, однако только они снова ступили на тротуар, как дочь задала очередной вопрос:

– А за что дядя Эрвин попал в лагерь?

– Это была ошибка, трагическая ошибка. Когда в сороковом сменилась власть, Эрвина пригласили на работу в Министерство иностранных дел. Он пошел. Долго он там не работал, поскольку через месяц Эстония вошла в состав Советского Союза и министерство было ликвидировано. Но когда стали арестовывать буржуазных деятелей, Эрвин тоже попал в списки... – Она подумала немного и добавила: – То есть нам этого никто не говорил, но это единственное разумное объяснение.

Больше Моника ничего не спрашивала, затихла, наверно, переваривала услышанное.

Дома Виктория сняла пальто и пошла прямо в спальню. Конечно, теперь, когда не было ни Вальдека, ни Пээтера, можно было перенести рабочий стол в комнату мальчиков, Арнольд уже предлагал ей это, но Виктории идея не понравилась: Пээтер будет ездить домой несколько раз в семестр, Вальдек, естественно, реже, из Москвы дорога и длиннее, и дороже, но все же пусть сыновья знают, что где-то есть место, принадлежащее именно им. Точно так же она держала пустой комнату Моника, пускала туда, правда, иногда родственников мужа Софии, когда те приезжали в Таллин учиться, но всегда только временно, благодаря этому возвращение дочери прошло сейчас безболезненно, словно она и не отсутствовала пять лет. Остальные две комнаты (каморку служанки она за нормальное помещение не считала) для работы не годились, они были проходные, к тому же Виктории нравилось, что есть отдельно столовая и гостиная, от одной мысли, что придется читать газету или слушать радио в помещении, пропитанном запахами еды, она брезгливо морщила нос. В итоге, несмотря на наличие в квартире пяти комнат, ее жизнь была сосредоточена в одном, правда, самом лучшем помещении, с окном во двор и потому тихом, тут она спала и работала, и единственным неудобством подобного устройства жизни было то, что при необходимости заглянуть в энциклопедию приходилось вставать и идти в гостиную, к книжному шкафу, здесь, на углу стола или на небольшой полке, все необходимые тома не помещались, но даже эта небольшая прогулка была скорее приятной, заменяя производственную гимнастику.

Настольную лампу она оставила включенной, но Арнольд ее в промежутке погасил, муж был человеком экономным, экономнее ее, хотя к транжирам Виктория себя не причисляла, просто Арнольд, будучи жертвой своей профессии, имел привычку подсчитывать доходы и расходы, мальчикам он вечно делал замечания, почему горит свет, если никого нет в комнате (с Моникой такого не бывало), особенно часто это случалось с Пээтером, младший сын был рассеянным, настолько рассеянным, что временами это даже беспокоило Викторию, когда он углублялся в книгу, можно было окликнуть его десяток раз, не услышит, только когда ущипнешь, поднимет свои голубые глаза и посмотрит на тебя невинным взглядом, настоящий ягненок, на такого и рассердиться невозможно. Викторию Арнольд, конечно, перерасходом электричества не попрекал, просто молча выключал лампу, так что она иногда даже не могла вспомнить, горел свет или нет – склероз. Да, нового языка за полгода она уже не выучила бы! Раньше это получалось словно само собой, слова, грамматические правила, идиомы – все запоминалось мгновенно, язык за языком, ни один не мешал остальным, наоборот, чем больше их становилось, тем яснее была картина в голове, тем больше во всем было системы. Разумеется, она не ко всем относилась одинаково, у нее были языки, дорогие сердцу, их она любила пылко, как любовника, в котором в реальности – может, именно благодаря этому – не нуждалась, и прочие, к которым питала симпатию большую или меньшую, но не чрезмерную, как к знакомым, предметом самой сильной ее страсти был, конечно, французский, уже с юности, еще до Парижа. Язык литературы и дипломатии – ее приглашали на работу в Министерство иностранных дел задолго до Эрвина, и непонятно, чем бы это закончилось, если бы не замужество, Арнольд

тоже был госслужащим, и закон буржуазного времени – представьте себе! – не позволял обоим, мужу и жене, получать зарплату от государства, как объяснял Эрвин, этот параграф ввели для борьбы с безработицей. Да, тогда была безработица, но и полные магазины, в которых теперь не было даже яиц – Арнольд это так и называл, «яичным законом», считая его своим вкладом в науку экономики. «Есть яйца – нет работы; есть работа – нет яиц», – хихикал он, когда Виктория накануне государственного праздника возвращалась из института счастливая, неся авоську с выдаваемыми по этому поводу продуктами. Счастье – какое подозрительное понятие. Разве Виктория не была счастливее всего, когда кормила Пээтера? И когда это было – в самое страшное время, в начале войны. Отец отвез ее с детьми в деревню, «в эвакуацию», как он пошучивал, только шутка эта могла плохо кончиться, дважды, и в сорок первом, и в сорок четвертом, они оказались в эпицентре боев, линия фронта, можно сказать, проходила через двор хутора, в одну ночь нагрянули немцы, спрашивали, не появлялись ли русские, в другую – наоборот, первым она отвечала по-немецки, вторым – по-русски: два ее первых языка, из детства, мамыны. Сама она со своими детьми говорила по-эстонски, по совету Эрвина, брат очень страдал оттого, что знает родной, или, точнее, отцовский, язык не в совершенстве и потому, как он полагал, не смог стать писателем.

Мысли вернулись к Эрвину, и Виктория снова затосковала. Почему мир столь несовершенен? Эрвин потерял в лагере здоровье, Герман болел уже в детстве и так и остался хромым – с ногами их семье особенно не везло, Софию настиг отосклероз, нервы Лидии после смерти Густава полностью вышли из строя, только она, Виктория, вроде не могла ни на что пожаловаться, но кто-нибудь мог заглянуть ей в душу, понять, какую трагедию она – и не только она – переживает? Мерзость мироздания доходит до женщины только тогда, когда ей исполняется пятьдесят, до этого все не так страшно, конечно, каждый человек медленно стареет, но до этого срока происходящее можно считать просто изменениями, да, исчезает юношеская свежесть, однако это компенсируется красотой зрелого возраста, внутреннее сияние не дает померкнуть внешнему, жизненный опыт и мудрость скорее добавляют очарования, чем уменьшают его, и ты живешь в блаженной вере, что так оно пойдет и дальше, под знаком «небольших изменений», до того момента, когда наступает пятидесятилетний юбилей и все переворачивается с ног на голову, ты уже не меняешься, даже не стареешь, а разлагаешься, неизбежно разлагаешься, постоянно ощущая эту неизбежность, пока в один момент не завоняешь – это еще предстояло. Легче женщинам, не обладавшим в юности чрезмерным шармом, София была старше Виктории почти на пять лет, но какой она выглядела в тридцатилетнем возрасте, такой примерно и осталась, даже наоборот – с годами у нее прибавилось женственности, она стала мягче, нежнее... Жизнь мужчин в какой-то степени была проще, в их организме не происходило, по крайней мере так рано – пятьдесят – это же так мало! – глубоких, основополагающих изменений; но в чем-то и сложнее, наверно, не очень приятно жить рядом со стареющей женой, даже если ты ее любишь... или особенно тогда. Хорошо еще, что Арнольд не был красавцем мужчиной, как, например, их ректор, которому приходилось скрывать свои амурные приключения от ревливой жены, небольшого лысого Арнольда было трудно представить в объятиях какой-то молодой секретарши из Совета народного хозяйства, но все равно из поведения мужа, того, как он иногда словно забывал о существовании Виктории, можно было сделать вывод, что и здесь что-то бесповоротно изменилось, ты, бывшая для него «женщиной из мечты», превратилась просто-напросто в «любимую супругу». Какое унижение! Но кого в этом винить, не Арнольда же? Нет, винить можно было только саму жизнь, подлую, противную жизнь, которая словно получала удовольствие, разрушая то, что сама и создала, – люди, когда они бомбят города и убивают себе подобных, всего лишь копируют природу.

Баста, сказала Виктория себе и развинтила авторучку. Что могла она, смертное существо, противопоставить мерзости мироздания? Только работу. Рукопись прервалась на толковании слова *beyond*, дальше должны были следовать идиомы. *Beyond belief*, написала она, невероятно;

beyond doubt – несомненно; *beyond hope* – безнадежно. Именно безнадежно, Эрвин уже никогда не выздоровеет, Лидия никогда не будет счастливой, Герман и София не достигнут того, чего могли бы. Что ожидало ее, Викторину, было непонятно – то, что так гордо называют жизнью, было выше ее разума.

Глава третья

София

В коридоре царила тишина – для Софии, как всегда и везде. В палате могли хоть орать, хоть бить стекла, до нее это донеслось бы лишь в виде легкого звукового фона, словно кто-то в другом крыле санатория играет на органе. В городе, на улице, было даже приятно лишь теоретически представлять себе, какой жуткий шум издают огромные самосвалы и прочие машины, как скрипят трамваи и грохочут компрессоры, в радость было также не слышать гама пьяниц и визга дурно воспитанных девушек, но когда в санаторий ложился новый больной и надо было собирать анамнез, глухота становилась для нее причиной душевных мук.

Конечно, у нее был присланный из Германии слуховой аппарат, который она берегла, как самое дорогое свое сокровище, но, пользуясь им, она в полной мере ощущала неестественность этого моста между нею и остальным миром. Насколько все-таки хрупкое существо человек, как несовершенен его организм – отбери у него одно из чувств, и он уже становится беспомощным. Тебя словно заключают в твой же внутренний мир – ты думаешь, понимаешь, страдаешь, но не можешь поделиться своими переживаниями с другими, ибо какой смысл обращаться к окружающим, если ты не слышишь, что они говорят тебе в ответ. Остается беседовать с самой собой, тоже, кстати, не худший вариант, по крайней мере, не надо постоянно смущаться из-за людской глупости. Конечно, музыка! В качестве небольшой компенсации именно музыка была единственным, что по какому-то странному пути, словно сквозь кости черепа, попадало во внутреннее ухо, правда, только живая музыка и почему-то в основном фортепианная. Прошлой зимой она ходила на концерт Рихтера и слышала почти все звуки, кроме *piano* *pianissimo*, – радость, которую можно было сравнить разве что с видом на озеро Боден. Ох, иметь бы и самой, как когда-то, рояль! Почти двадцать лет ей пришлось жить без этого инструмента, позапрошлой осенью она взглянула на свой счет в сберкассе и подумала, что теперь может позволить себе роскошь обзавестись им, но случилось несчастье с Эрвином, и пришлось помогать Тамаре, а потом у Эдуарда возникла идея построить дом. Дело это выглядело многотрудным, и София предпочла бы отговорить мужа, но с Эдичкой тоже надо было считаться, муж в последнее время стал нервным, наверно, бессознательно чувствовал, что годы уходят, а ничего не сделано. У нее, у Софии, все-таки была профессия, она лечила, возвращала людям здоровье, иногда даже вытаскивала из пасти смерти, но разве можно было считать серьезной мужской работой Эдичкину должность физкультуринструктора? Дом предоставил мужу шанс создать что-то своими руками, но давалось это им нелегко, Эдичка не привык решать хоть что-нибудь самостоятельно, советовался с Софией по любому поводу, так что ей пришлось вникать в даже совсем чуждые ей проблемы, вроде того, как копать котлован для фундамента или какие выбрать кирпичи, белые или красные. Еще она думала с огорчением, что теперь застрянет в деревне до конца жизни, в душе она тайно лелеяла мечту после выхода на пенсию обзавестись какой-то жилплощадью в Таллине, чтобы, с одной стороны, быть ближе к братьям и сестрам, а с другой, чувствовать себя опять той, кем она была по рождению, горожанкой – как-никак в детстве она слушала в Большом театре Шаляпина и видела в Художественном «Вишневый сад», – но, видимо, такова была ее судьба, как и глухота, неизбежная, поскольку построить дом было возможно только здесь, где их все знали, где у нее было много пациентов и кто-то вечно помогал транспортом или материалами...

На пороге кабинета старшей сестры беззвучно, словно призрак, возникла Роза – София никак не могла привыкнуть к тому, что другие слышат ее шаги, для нее все люди ходили, как по вате. В коридор Розу наверняка выманило любопытство, это она ответила на звонок междугородной станции и побежала через двор звать Софию, теперь ей, конечно, хотелось выяснить, что случилось, Софии звонили редко, только по крайней необходимости, все знали,

как трудно ей говорить по телефону. Сама София никогда себя так, как Роза, не повела бы, ее воспитывали иначе, одна из мамим гласила: не вмешивайся в чужие дела; мама и не вмешивалась, она была человеком гордым, однако сердиться на Розу София не стала, чего можно требовать от простой деревенской женщины, тем более что старшая медсестра обладала другими достоинствами, например, вечером можно было с легкой душой оставить санаторий под ее присмотром, с небольшими сложностями Роза справлялась сама, за врачом посылала, только если случалось что-то серьезное. Исчезновение Эрвина наверняка заинтересовало бы Розу, она неплохо знала брата, так как уже работала здесь, когда Эрвин после лагеря лечился от туберкулеза, брат, благодаря своим прекрасным манерам, был любимцем персонала, особенно женщин, он обращался ко всем, к санитаркам и уборщицам в том числе, на «вы», называл их «госпожами» и «барышнями», встречаясь с кем-то в парке мызы, приподнимал шляпу и всегда открывал перед «дамами» дверь, однако София не хотела говорить Розе о бегстве Эрвина и потому промолчала, тем более что спросить ее прямо Роза постеснялась, промолчала, только поинтересовалась, все ли в порядке, покачала головой, когда узнала, что один из новых пациентов уже попался на курении, и сообщила наконец, что должна съездить на станцию, не возражает ли Роза?

– Езжайте спокойно, сегодня здесь уже ничего не случится! – сказала та; София увидела, как ее глаза загорелись от любопытства, и вышла.

По-прежнему капало, завтра можно идти по грибы, сейчас же София открыла зонтик, по пандусу прошла во двор и засемила довольно быстрым по своим меркам шагом – обычно она «бежать» не любила – к двухэтажному деревянному зданию, в котором когда-то обитал многочисленный служилый люд мызы, экономки, кучера и горничные, теперь же ютился персонал санатория. Шестнадцать лет назад они с отцом совершенно случайно, по дороге из Лейбаку в Таллин, заехали сюда, главврач только что бежал вместе с немцами, и больные, услышав, что София тоже доктор, спросили, не владеет ли она случайно техникой пневмоторакса? Задать подобный вопрос ей – да ведь это сама София много лет назад привезла усовершенствованный вариант этого лечебного метода из Германии в Эстонию, до того здесь никто не знал, что двусторонний пневмоторакс возможен, чем же пациент дышит, удивлялся, помнится, один коллега. Из Тарту метод попал в Таллин, потом в провинцию, чему она радовалась, но в радости этой была и доля горечи, поскольку ей самой именно тогда пришлось переквалифицироваться в зубные врачи, скучная профессия, как будто медицина, но только как будто, унылое ремесло без творческого начала, однако деваться было некуда, кому нужен глухой пульмонолог? Потом выяснилось кому – советской власти. Те несколько пневмотораксов София в тот раз сделала, ни на что не надеясь, просто из добросовестности, но когда они несколькими днями позже, когда Таллин был уже освобожден, заспешили туда, папа боялся, что красноармейцы займут пустую квартиру Виктории, как это уже однажды, до войны, произошло, и она пошла в министерство сообщить о ситуации: «Санаторию срочно нужен врач!»; замминистра, которого она знала, тут же сунул ей в руки ручку: «Пишите заявление. Сами и поедете!» Вот тогда сердце действительно екнуло, как никогда раньше, выйдя из начальственного кабинета, она даже прослезилась, что в те времена было ее характеру совершенно не присуще, в следующий раз такое с ней случилось уже девятью годами позднее: когда по радио передали сообщение о смерти Сталина, она не удержалась и заплакала, присутствовавший при сем пациент удивленно спросил: «Доктор Буридан, неужели вы приняли это так близко к сердцу?», а она не могла сказать вслух, что плачет от счастья.

Открыв, словно в немом фильме, дверь, она вошла в полутемный коридор и стала карабкаться вверх по крутой лестнице. Просто удивительно, как условия жизни с годами могут все ухудшаться и ухудшаться! Разве ту единственную комнату, к которой она сейчас поднималась, можно было сравнить с просторным жильем отца в центре Тарту? А насколько узок и низок был даже тартуский дом по сравнению с их еще более ранней московской квартирой, где можно

было часами играть в прятки, так что не становилось скучно? Кстати, намного больше, чем по той квартире, она скучала по самой Москве, по особому свободному духу, который встречается только в метрополии, по огромным книжным магазинам, по вечно куда-то спешившей толпе, в которой было так просто раствориться, и, конечно, по театрам, по десяткам театров. Для Софии было полным потрясением, когда они, приехав после оптации в Тарту, вышли из поезда и потрусили на извозчике к своему временному обиталищу, каждый раз потом, когда ей попадалось в книгах предложение, которое писатели, кажется, очень любили: «В тот день кончилось его детство», она думала, что именно это с ней тогда и случилось.

Эдичка сидел за столом, углубленный в «вычисления», как он это называл, – зрелище, Софии хорошо знакомое, папа всю жизнь прибавлял и вычитал, умножал и делил, рассчитывал продажу и прибыль, но для Эдички ситуация оказалась новой, он после школы арифметикой не занимался и сейчас с удовольствием увильнул бы, если бы София не купила ему в райцентре толстую тетрадь в клетку и не велела отмечать все расходы, связанные с постройкой дома, чтобы «не потерять ориентацию». Вот и потел Эдичка каждый вечер за кухонным столом, потел больше, чем когда копал котлован, не говоря об уроках лечебной физкультуры. Хилый в юности, недокормленный муж с годами стал покрепче, да и разумом в общении с образованной женой трезвее, но математический талант все же нечто другое.

– Кто звонил?

Голос Эдички доносился словно из-под земли, хотя София знала, что муж почти кричит. Пользуясь привилегиями глухой, она не спешила ответить, подошла сначала к стене, где рядом с барометром висел прищипленный булавкой лист бумаги с расписанием поездов.

– Эдичка, нам надо ехать на станцию. Звонила Виктория, Эрвин пропал. Они думают, что он мог отправиться сюда.

– Он ведь сообщил бы!

София притворилась, что не услышала контраргумента, открыла гардероб и стала искать, что надеть – вечера были уже холодные.

Они миновали будущий дом, первый этаж которого был почти достроен, переехали деревянный мост и повернули еще раз налево, на липовую аллею. До шоссе оставалось километра полтора, по нему до станции еще два с половиной, итого четыре, прямо по тропинке было не больше двух с половиной, но прямой путь для того, чтобы ковылять по нему на костылях в темноте, не годился.

– А что случилось с Эрвином, опять приступ? – поинтересовался Эдичка, теперь, когда они оказались на ровной дороге и при свете фонарей можно было легко объезжать лужи, он чувствовал себя увереннее и был способен разговаривать.

– Он исчез. Взял с собой всю свою одежду и оставил записку, что едет в Ригу начинать новую жизнь. Этому я не верю, что ему там делать, он был в Риге всего дважды в жизни, первый раз в юности, на соревнованиях по волейболу, и второй в командировке, лет двадцать назад.

– Может, у него там какой-то старинный приятель с тех времен, волейбольных? Или даже бывшая невеста?

Бывшая невеста... Эдичка мог иногда повести себя весьма неделикатно – инвалид, и вдруг едет к женщине. Конечно, София понимала, что муж балагурит, но он мог бы и подумать, подходящий ли для этого момент. Замечания ему она все-таки делать не стала, просто промолчала.

– Виктория полагает, что он мог поехать к нам, больше он в последние годы ведь никуда не ездил, конечно, наверняка сказать нельзя, но проверим, чтобы на душе было спокойно.

– Конечно, проверим! – кричал Эдичка. – Уже едем! К счастью, это недалеко, а то я подумал, что ты решила махнуть в Ригу.

Муж был все-таки немного обижен, что его вытащили вечером из теплой комнаты, но прямо высказывать обиду не стал, некоторые вещи и он понимал без слов, например то, что все просьбы Софии, касающиеся братьев и сестер, подлежат безоговорочному выполнению. Ведь разве с его родственниками не обращались так же, разве Виктория не приютила, когда Моника училась в Москве, племянниц Эдички? Сперва одну, потом другую, приютит и племянника, когда тот в будущем году окончит восьмой класс и поступит в Таллине в техникум. Насколько муж это гостеприимство умел ценить на самом деле, София толком не знала, за тринадцать лет совместной жизни она неплохо изучила Эдичку, но что-то в человеке все равно остается скрытым, а вернее, были некоторые качества, которых она у мужа до сих пор не обнаруживала, например сочувствие и великодушие, однако это не означало, что таковыми он не обладает вообще, возможно, в самом дальнем, неведомом и самому Эдичке уголке души нашли пристанище и они, но поскольку трезвый ум мешал Софии чересчур уж фантазировать, она предпочитала оставить вопрос открытым; но даже если муж рассматривал помощь родственников как некоторого рода бартер, и то ладно, ведь Эдичка обладал другими достоинствами: он был домоседом, не гулял, выпивал редко, только на днях рождения, и то умеренно, никогда не напивался, а теперь, когда они купили машину, и вовсе ограничивался рюмочкой во здравие, курил тоже только за праздничным столом да еще когда ловил рыбу из лодки – словом, был весьма предсказуемым и легкоуправляемым мужем. Авторитет Софии Эдичка признавал полностью, это тоже можно было считать достоинством, поскольку Тамара, например, отнюдь не относилась к познаниям Эрвина с почтением, иногда спорила с ним даже по вопросам права – Эдичка никогда не посмел бы усомниться в медицинских знаниях Софии, единственное, что его выводило из себя, это когда София начинала учить его водить машину, вот тогда он мог действительно сказать что-нибудь резкое. София, правда, старалась помалкивать на этот счет, но иногда, когда Эдичка поворачивал не туда или нечаянно нарушал правила движения, все-таки не могла удержаться от лишних замечаний. Пылкой любви между ними никогда не было, они ведь обручились, когда Софии было уже сорок, и она в душе смирилась с одиночеством, предложение Эдички грянуло как гром с чистого неба, и некоторое время она действительно чувствовала, по крайней мере, умиление или даже влюбленность, хотя понимала, что Эдичка видит в ней в первую очередь человека старше и умнее, на которого можно опереться, но что такое любовь, если не взаимная опора? Вот и их брак больше всего напоминал хорошо отлаженную машину, примерно такую, как «Москвич», на котором они сейчас ехали. Эдичка в этом контексте выполнял функции мотора, а София – рулевого механизма, в ее обязанности входила и смазка, поскольку Эдичке нравилось, когда с ним разговаривали тепло и сердечно. Был ли этот тон искусственным? Возможно, как в некотором смысле искусственна вся человеческая цивилизация, однако усилия, расходуемые на поддержание этой цивилизации, стоят того, ибо без них общество впадет в дикость. Единственное, о чем София жалела, что Эдичка не был тем собеседником, в котором она нуждалась, то есть, пока обсуждались экономические проблемы семьи, он мог иногда сказать и что-то дельное, но в искусстве, жизни и людях понимал мало, игра на скрипке вроде должна была доказывать, что и в Эдичке таится тяга к прекрасному, однако София знала, что это скорее маленький «театр», ибо из-под смычка Эдички выходило слишком много фальшивых нот.

Они доехали до станции, не встретив ни одного пешехода. София выбралась из кабины и прошла в деревянное здание, окошечко кассы было закрыто, она постучала, подождала какое-то время, постучала еще раз, и тут из заднего помещения выглянула Маали и, увидев Софию, радостно вскрикнула – София как-то извлекла у нее камень из мочеиспускательного канала, да так, что самой брызнуло в лицо. Эрвина Маали знала, но сегодня его не видела, правда, через десять минут должен был прийти последний поезд – может, брат приедет на нем? София кивнула и вышла на перрон, дождь перестал, было прохладно, но она не стала садиться в машину, Эдичка тоже вылез из кабины и присоединился к ней, они стояли под темным, в тучах, небом,

вокруг поле, за полем лес, и только две пары рельсов у их ног напоминали, что они живут в двадцатом веке. Эрвин любил гадать, близко ли поезд, он даже опускался на колени, прикладывал ухо к шпалам и прислушивался, очень поэтично, а вот Эдичка был человеком прозаичным, просто стоял и переминался с ноги на ногу до тех пор, пока вдали не стал виден фонарь паровоза. Беззвучно подъехал состав, притормозил, так же беззвучно открылись двери, и вышли три пассажира, первого из двух мужчин и женщину София знала, они жили на ближних хуторах, второй был еще далеко, у последнего вагона, но София уже поняла, что это не Эрвин, поскольку у него было две ноги. Потом поезд все так же беззвучно тронулся с места и вскоре превратился в удаляющееся насекомое.

– Пойдем, что ты мерзнешь?! – прокричал Эдичка, видя, что София не двигается с места, и словно от его голоса она вдруг почувствовала, что глаза увлажнились, вынула из кармана пальто платок, вытерла слезы и засеменила рядом с Эдичкой к машине.

– Я почему-то вспомнила рассказ Эрвина о том, как он пошел в первый раз в суд, выступать, и вахтерша не хотела пускать его в зал, спросила, что тебе здесь нужно, мальчик, а когда Эрвин показал ей адвокатское удостоверение, обалдела: «Вы же такой молодой, когда вы успели закончить университет?» Эрвин за один год сдал экзамены за два, да еще будучи в это время на действительной службе в армии, он был такой талантливый!

Она опять прослезилась и достала платок.

– Ладно, успокойся, он же не умер! – крикнул Эдичка и по-товарищески хлопнул ее по плечу – во всем, что касалось выражения чувств, муж был человеком неотесанным.

За всю обратную дорогу они не обменялись ни словечком, раз или два Эдичка чуть было тихо не запел, на самом деле он водил машину с упоением даже в темноте и по грязной дороге, – чуть не запел, но в последний момент удержался. Когда они подъехали к санаторию, дверь открылась и на крыльце усадьбы появилась Роза в пальто, наброшенном на белый халат.

– Эдичка, остановись, наверно, что-то случилось!

Вспыхнула отчаянная надежда, а вдруг Эрвин все-таки пришел по тропинке, но ее тотчас же сменил еще больший страх – а что, если Виктория снова позвонила и... Но все оказалось проще, на одного юношу из третьей палаты напал сильный приступ кашля, и Роза, человек ответственный, решила, что лучше проконсультироваться с врачом. София тут же вылезла из машины и вошла в здание санатория, к счастью, кашель уже утих.

– Наверно, шалили с приятелями? Или даже курили?

Нет, курение Ульяс отрицал, такой симпатичный сааремааский парень, очень развитый, с ним можно было обмениваться мнениями даже о литературе, но сегодня у Софии охоты на разговоры не было, она пожелала всем спокойной ночи и пошла домой. Там она неожиданно получила взбучку от Эдички, оказалось, что она оставила ключ в замке: это было типично для мужа, выходить из себя из-за мелочей, а вещи серьезные, вроде ареста, убийств и вообще смерти, воспринимать как нечто само собой разумеющееся.

София не стала реагировать на его вопли, только посмеялась своей рассеянности – от страха перед ворами запереть дверь, но вынуть ключ забыть. Чайник Эдичка, тем не менее, уже поставил, она принялась накрывать на стол, да и Эдичка утихомирился быстро, как только набил брюхо картошкой и грибным соусом, то есть муж был просто-напросто голоден, отметила София машинально, вот откуда эта истерика. Сама она съела лишь два бутерброда – аппетита не было, – они выпили чаю, потом Эдичка снова вроде собрался сесть за свои вычисления, но передумал, сказал, что устал и ложится, завтра утром рано должны были привезти цемент. София тоже легла, какое-то время они читали, Эдичка газету, она «Bel-Ami» – она любила перечитывать давно прочитанные книги, французский ей, конечно, вряд ли мог когда-нибудь еще понадобится, но в качестве гимнастики для мозгов читать на нем было полезно, потом Эдичка стал зевать и погасил бра со своей стороны кровати, и София, чтобы не мешать мужу, последовала его примеру. Но спать ей не хотелось, обычное дело, она уже привыкла

к этому, бессонница означала, что она достигла определенного физиологического возраста. Лежа на спине, с несколькими подушками под головой, она думала обо всех своих, о папе и маме, которых уже не было, о несчастном Рудольфе, чья жизнь оказалась такой короткой, о Германе, Эрвине, Виктории и Лидии, которые пока были, но которых однажды тоже не будет, как и ее самой, а потом о молодом поколении, о Вальдеке, Монике, Пээтере, Пауле и Тимо – пять детей на пятерых братьев-сестер, немного. Затем ей вроде пришло в голову что-то еще, но, что это было, она уже не запомнила, поскольку уснула.

Глава четвертая

День танкиста

- Папа, чем ты занимаешься?
- Ставлю карточки с именами.
- На танки?
- А ты не знаешь, что сегодня День танкиста?

Бросив на отчима отчужденный взгляд, Анна удалилась на кухню – сразу видно, что дочь старого хмыря Вареса, подумал Герман. Приятно, конечно, что она называет его папой, в этом отношении Надя ее достаточно воспитала, но чувство юмора, увы, привить невозможно.

Он прохромал к роялю и взял с куска фанеры последний танк. Пальцы уже не те, подумал он, в молодости за один вечер он вылепил бы целую дивизию, теперь на эти несколько ушло полнедели, особенно трудно было вырезать из ватмана маленькие флажки и писать на них тушью имена. Наверно, Надя с Анной очень удивлялись, что его так увлекла работа над генеральным планом колхоза «Красная Звезда» – ради плана он действительно не стал бы засиживаться в кабинете допоздна, какой смысл строить главное здание, если на поле бардак, усердно сеют кукурузу, хотя все отлично знают, что она не вызреет, Эстония – не штат Айова, тут другие климатические условия... Только тс... вслух этого говорить не стоит, разве что в кругу своих, за столом, но на работе точно нет, острый язык всегда доставлял ему кучу неприятностей, хватит, он уже не мальчишка.

Разместив танк «София» на обеденном столе, на картонной подставке для пивной кружки, он захромал за «Эдуардом» – жаль, что деверя звали не «Фердинанд», вот посмеялись бы. Герману нравилось злорадно хихикать, это было его личной небольшой мстостью человечеству, с еще большим удовольствием он помучил бы немного это человечество, жаря воров и разделявая на куски кровопийц, но, увы, он работал не в аду. Над славным маленьким Эдуардом можно было подшутить и иначе, например, попросив именно его открыть бутылку шампанского, чтобы вспомнил то героическое время, когда сторожил (читай, опустошал) на каком-то острове в чудском озере немецкий винный склад. Конечно, если шампанское кто-либо принесет, у Нади было много добродетелей, но щедрости ей не доставало. «Зачем покупать вино, у тебя же в подвале два сосуда по тридцать литров!» И поди объясни дурехе жене, что вино, вообще-то говоря, принято делать из винограда, и только потому, что данный фрукт в северном климате не растет, и еще оттого, что яблоки, которые падают в саду с деревьев, некуда девать, в пищу они не годятся, по крайней мере, человеку, который в юности в большом количестве сгрызал сладкие немецкие, ему могло взбрести в голову расширить ассортимент алкогольных напитков.

Кого же мы посадим рядом с Эдуардом? – подумал он, и быстро решил: Тамару. Пусть оппозиция соберется в одном углу, щебечет на своем аборигенском языке и получает от этого удовольствие. «Не понимаю, почему ваша семья говорит и по-русски, и по-немецки, но только не по-эстонски?» – спросила Тамара после первого визита к Герману у Эрвина, спросила достаточно громко, чтобы морской ветер донес реплику до ушей пришедшего провожать молодоженов до калитки Германа. И что ответил младший брат? Младший брат, лопух, только сделал своей фифе внушение: «Говори тише», виновато пояснив: «Что поделаешь, иначе Надя нас не поймет». При чем тут Надя, если русский и немецкий были их, Буриданов, языками детства! «Но теперь я не все поняла», – продолжала капризничать Тамара; что Эрвин ответил на сей раз, Герман уже не услышал, сам бы он сказал: «Учись, лишний язык никогда не помешает! Имя у тебя русское, а слова подбираешь с трудом».

По другую сторону от Тамары должен был сидеть сам «лопух», но тот, увы, сбежал в неизвестном направлении. Мягкий, романтичный малыш, душа компании и неудачник в одном

лице, жертва коварного грузина, раньше он был самым видным в семье, высокий, стройный, спортивный, не то что такой хромой гном, как Герман, но это было давно, сегодняшний Эрвин был больше, чем хромой, одноногий, да еще болезненно худой, бледный, с измученным лицом, словно Атлант переложил на его плечи земной шар и смылся. На самом деле брат, конечно, таскал на плечах не мир, а жену, но для Эрвина Тамара и была небом, солнцем и луной в одном лице. Правда, теперь ситуация изменилась, после перехода Эрвина на инвалидность вкалывать пришлось уже Тамаре, однако Герману ее жаль не было – что хотела, то и получила, нечего выходить замуж ради «партии», нашла бы себе молодого крепкого крестьянина, родила тому шестерых детей, как их мама папе, и был бы у ее жизни смысл. Предпочла другое: «Эрвин, пойдем в ресторан!», «Эрвин, поедem в дом отдыха!», «Эрвин, купи мне каракулевую шубу!» И Эрвин шел, Эрвин ехал, Эрвин покупал до тех пор, пока подорванное в лагере здоровье не рухнуло окончательно, не выдержав капризов и, добавил Герман с цинизмом опытного мужчины, определенного рода требований молодой жены. *Die böse Sieben*³ – еще одна подобного рода дама была виновна не в чем ином, как в крушении Российской империи, и Герман нередко вспоминал ее, как люди вообще вспоминают знаменитостей, с которыми их случайно свела жизнь. Какая властность исходила от этой стервы, которая вместе со своим олухом мужем и дочерьми в ходе благотворительного визита в крымский санаторий остановилась и перед его, Германа, ложем. Лучше всего он запомнил, что случилось после того, как императрица поинтересовалась его именем и одна из дочерей на его ответ «Герман Буридан» прыснула – матери достаточно было лишь слегка повернуть голову, как настала тишина, такая тишина, что было слышно, как волны плещутся о берег.

Приход Нади прервал воспоминания, жена бросила взгляд исподлобья в сторону танков, но ничего не спросила, а начала расставлять на столе блюда.

– Не бойся, я подложил под них подставки, чтобы не испачкалась скатерть, – добродушно сказал Герман.

– Твой день рождения, можешь воткнуть флаги хоть в салат, мне-то что, – огрызнулась Надя.

Герману нравилось, что жена никогда не скрывает своих эмоций, он терпеть не мог людей, которые внешней вежливостью маскировали злобу, с Надей они ссорились часто и с удовольствием, в этих ссорах была жизнь, они поддерживали бодрость духа.

– Возможно, я и воткнул бы, но боюсь, флагшток останется сухим и выдаст гостям твою скупость.

– Мою скупость? Я положила в салат три банки сметаны!

Черные глаза Нади сверкали – настоящая казачка, вот сейчас вынет саблю и отрежет у мужа кое-что, не думая, что сама от этого пострадает.

– На сколько ведер картошки?

– Негодяй! Ну и дура я, что вышла замуж за такое чудовище!

Словно в подтверждение своих слов Надя напала на Германа и стала колотить его кулаками в грудь, кулаки были маленькими и опасности не представляли, потому Герман даже не стал отворачиваться, а просто схватил, смеясь, жену за талию и обнял ее так крепко, что Надя пискнула:

– Ой, ты сломаешь мне кости!

– Если да, то только ребра, до бедер мне не добраться, слишком глубоко запрятаны, – сообщил Герман, весело смеясь, и, когда Надя обиженно завизжала, поцеловал ее в только что покрашенные черные волосы.

Надя счастливо замурлыкала и уткнулась Герману головой в грудь, но муж развернул ее и отправил шлепком по заднице обратно на кухню.

³ Die böse sieben – «злое семя», употребляется в значении: ведьма, злая баба.

Завершив свой вклад в накрывание стола (водку имело смысл оставить на потом, чтобы не согрелась), он взял фанеру и прохромал туда, откуда он ее пару дней назад притащил, на веранду. Здесь было уже прохладно, осень выдалась ранней, ветер дул с северо-востока, нагоняя холодный воздух. Несмотря на это, он не торопился вернуться в комнату, нашарил лежащую на полке табакерку и стал набивать трубку. Ветки яблонь шуршали, за углом Барбос гремел цепью. Его маленькая крепость, его шале – редко случалось, что архитектору больше всего нравился собственный дом, но тут был почти такой казус. Что поделаешь, на рабочем месте он полностью зависел от заказчика, кому подавай Кёльнский собор, кому – колхоз «Красная Звезда». А ведь начиналось все так многообещающе: любимый ученик карлсруэского профессора, после окончания института – его ассистент, первая самостоятельная работа; если бы эта фашистская шкура на него бы не донесла, он достроил бы начатое здание издательства в Лейпциге, возможно, получил бы следующий заказ и далее, и далее. Правда, скоро началась война, и вполне вероятно, что все, что он построил бы, было бы разрушено, да и сам он мог пострадать при бомбежке города – в армию его, хромого, вряд ли взяли бы, однако, если бы остался жив, сейчас восстанавливал бы Германию вместо того, чтобы выполнять эстетические капризы глупого хохла, ограничивающиеся социалистическим реализмом в искусстве и хатой в архитектуре. И какой высоты потолки хаты? Правильно, именно такой, чтобы хохол не ударился головой, но – ирония судьбы! – тот оказался таким же карликом, как и Герман. Вот и пришлось проектировать хаты и обзывать их хлевом – какое оскорбление для коров! Ни одно уважающее себя парнокопытное не переступило бы порог подобной конуры, в отличие от советского человека, чья покорность заслуживала восхищения.

Так что острый язык действительно определил творческую судьбу Германа, и не только творческую. Если бы он не порекомендовал фашистской шкуре аккуратнее работать, а не клеить листовки на забор стройки, его не выдворили бы из Германии, он женился бы на Беттине – и что тогда? А тогда, подумал он иронично, подавал бы Герман Буридан до конца жизни жене кофе в постель, ибо Беттина была требовательна, не менее требовательна, чем Тамара, и с намного большим основанием, поскольку, в отличие от супружницы Эрвина, у нее было хорошее приданое, тоже шале, но попросторнее здешнего, картины на стенах и «БМВ» в гараже. Был бы я с Беттиной счастливее, чем с Надей? – спросил Герман себя и без колебаний ответил: «Никогда». С Беттиной он, возможно, даже не пережил бы войну, поскольку, если бы его случайно отправили в Дахау, Беттина его оттуда не вызволила бы, а вот Надя из таллинской тюрьмы извлекла, подавила гордость и пошла умолять бывшего мужа, чтобы тот пустил в ход свои связи. Благодаря Варесу – будем честны по отношению к птицам⁴ – он и отмечал сейчас в очередной раз день рождения, благодаря Варесу и своей профессии, в тюрьме было холодно, и он спроектировал для мерзнувших немецких охранников новую систему отопления. Кстати, поступок Нади обошелся ей дорого – после подобной услуги она не могла больше держать дочерей вдали от отца, и когда началось «большое сломя голову бегство», тот сманил двух из трех с собой. Бедная Надя, вот не везет, так не везет! Четверть века жена жила одна в чужой стране, без родителей, без братьев-сестер, и в конце концов у нее отняли даже две трети материнского счастья. Время после войны было трудным, Надя плакала ночи напролет, Герман пытался ее всячески утешить, даже предлагал поехать в Сибирь и разыскать родственников – граница ведь уже не мешала. Но Надя боялась, страх перед большевиками был сильнее желания узнать о судьбе близких. Подумать только, она до сих пор скрывала от всех свое настоящее имя! «Красавица, послушай, что я тебе скажу, хочешь выжить, уезжай подальше, лучше всего в Москву, и возьми себе другую фамилию, чтобы никто тебя не нашел!» Так в конце Гражданской войны посоветовал Наде некий командир Красной армии. «Чего тебе, сироте,

⁴ Варес – по-эстонски ворона.

было бояться, наверно, ты просто искала приключений», – поддразнивал Герман жену, когда та пускалась в воспоминания.

«Ты не понимаешь, у меня оба брата воевали на стороне белых, один у Колчака, другой у Деникина! – возмущалась Надя недоверием мужа. – Отец, правда, к тому времени умер, но дед был еще жив, он был богат, богаче многих помещиков. У нас было несколько сот коров и свиней, птица, много земли, пастбища, кедровый лес, один дядя был пчеловодом, другой – кожевником. Когда мне исполнилось шестнадцать, дедушка подарил мне соболью шубу и бриллиантовые серьги, я была его любимицей. Шубой я оплатила поездку в Москву, а за серьги приобрела новые документы». – «Не думаю, что они были бриллиантовые, иначе в паспорт тебе проставили бы фамилию посолднее», – продолжал поддразнивать жену Герман, после чего в его сторону обычно летела кухонная тряпка. «Чиновник сказал мне, что Нищая намного более безопасная фамилия, чем Орехова, с такой никто не будет копаться в моем прошлом», – орала Надя вслед тряпке. «И что там в прошлом такого, чего бояться? – удивлялся Герман. – Сама рассказывала, что дедушку выслали в юности в Сибирь за то, что дал пощечину есаулу». – «Да, все верно, есаул оскорбил дедушку, обозвал вором, а дедушка был гордый человек». – «Вот видишь, следовательно, твой дед был жертвой царского режима. Что он в Сибири как следует поработал и разбогател, об этом можно просто промолчать».

Важнее всего в жизни всегда говорить правду, но только ту, которая тебе выгодна». И однако Надя все равно боялась, боялась так, что во время «большого сломя голову бегства» чуть было не стала и сама паковать чемоданы – Варес был человеком великодушным, звал всех с собой, даже Германа; но начать еще раз все сначала? Нет, хватит...

Он зажег трубку и почти успел ее выкурить, когда залаял Барбос. Хороший сторож, подумал Герман довольно. Родственники не очень жаловали его пса, считали злым, но кто когда-либо видел добродушную овчарку, и если даже видел, что с такой делать? Сейчас звон цепи, сопровождающий лай, доказывал, что дело серьезное. Герман выглянул из-за занавески, и действительно, за воротами блестело что-то серое – курносый «Москвич» Эдуарда. Вернее было сказать, Софии, поскольку на зарплату инструктора лечебной физкультуры машину не купишь, но руль был все-таки в руках зятя, да и документы оформлены на его имя, чтобы не задеть самолюбия. Пассажиров пока видно не было, наверно, подбирали с заднего сиденья букеты и торты, Эдуард же явно ждал, когда шурин придет и откроет ворота, на улице он машину никогда не оставлял – боялся воров. Придется идти, подумал Герман, сжал трубку зубами покрепче и снял с вешалки шерстяной жакет. Надевать туфли он все же не стал, просто сунул ноги в тапочках в калоши – замечательное изобретение, одно из лучших, какие он знал.

На улице было противно, ветер еще более усилился, он торопливо проковылял вниз по маленькой каменной лестнице и продолжил свой крестный путь, хорошо, что его Голгофа не гора. А не правильно ли поступали спартанцы, слабых детей в пропасть, и дело с концом? Раньше подобные мысли посещали его часто, в последнее время реже, ибо любовь к жизни, как ни странно, растет с приближением смерти. Дойдя до ворот, он увидел и вторую машину, посолднее, «Победу» с квадратиками на боку, она остановилась за «Москвичом» Эдуарда, и из нее вылезла дама в шляпе. Ну да, чтобы Лидия куда-то поехала на автобусе, это исключалось, младшая сестра привыкла к машинам, какое-то время она на каждый день рождения прикатывала на правительственном ЗИМе, а поскольку последние лет десять ей никто такой роскоши не предлагал, то ныне ползарплаты у нее уходило на такси – собственно, на что ей было эту зарплату тратить, она ведь почти не ела! Вот что делает с женщиной любовь... или, вернее, траур, но разве траур не есть квинтэссенция любви?

Он открыл ворота, чтобы Эдуард смог въехать, и обнял прямую, как сосенка, Викторию, вошедшую на территорию участка первой:

– Здравствуй, богиня победы! Что слышно об Эрвине?

– Пока ничего.

Он вздохнул с облегчением – начиная с определенного возраста, отсутствие новостей становится лучшей новостью, обнял маленького, ниже даже его, Арнольда, расцеловал в обе щеки Монику и посмотрел на исхудавшую Лидию – кожа серая, под глазами мешки... Десять лет прошло со смерти Густава, а сестра так и не оправилась.

– Поздравляю, Герман! – Голос Лидии стал хриплым от курения.

Она обняла брата и прижалась щекой к его щеке. Даже сейчас, в столь жалком виде, она была красива, тонкие черты ее лица не размылись, как бывает со многими женщинами в этом возрасте, а печаль, словно застывшая в больших серых глазах, придавала и так аристократичному виду еще больше благородства.

– Спасибо, сестричка! А куда вы Тамару дели?

– К ней приехал брат из деревни.

Это, конечно, было отговоркой, Тамаре просто не хотелось с ними встречаться. Он попросил Лидию самой отнести цветы в дом, закрыл ворота и оказался в объятиях Софии. Старшая из двух сестер была таким же лилипутом, как он сам, сантиметры у Буриданов стали прибавляться с третьего или, вернее, с четвертого ребенка – какой рост набрал бы Рудольф, неизвестно.

– Поздравляю, братишка!

– Спасибо, сестричка! – крикнул Герман, чтобы София его услышала.

Эдуард тоже наконец вылез из любимой машины и пожал имениннику руку.

– Поздравляю, Буридан, будь здоровый, как титан! – продекламировал он со сверкающими от вдохновения глазами.

– Спасибо, зятек, спасибо, – усмехнулся Герман, похлопал физкультуринструктора, увлекающегося поэзией, по-дружески, хотя и с небольшой иронией, по плечу и отправил его к дому, а сам задержался, чтобы погладить Барбоса и похвалить за своевременный лай.

Когда он дошел до веранды, в комнате уже слышался щебет Нади, жена оживлялась всякий раз, когда собирались родственники, она ведь не работала и своего круга общения не имела, соседи и те ее сторонились – как-никак русская. Герман выбил трубку, снял жакет и калоши и переступил порог. В прихожей царил хаос, Надя и Анна бегали на кухню и обратно,нося последние блюда, Виктория и Арнольд рылись в большой сумке, наверно искали подарок, Эдуард орал что-то Софии на ухо, Лидия же стояла перед зеркалом, поправляя прическу, – она поседела сразу после смерти Густава, красить волосы не желала, но к парикмахеру, тем не менее, ходила регулярно.

– Пэтер не приехал домой на конец недели?

– Их курс отправили в колхоз, на картошку, – объяснила Виктория.

– Экономический закон социализма номер два: если нет безработицы, то некому работать, – прокомментировал Арнольд.

Вальдек был в Москве, а про Пауля Герман спрашивать не хотел: сын был больным местом Лидии.

– А Тимо где? Могли бы хоть его прихватить, так сказать, представлять семью.

– Я предлагала, – объяснила опять-таки Виктория, – но Тамара сказала, что Тимо не хочет.

– Не хочет, потому что дядя Герман в последний раз ущипнул его, – добавил Арнольд со смешком.

– Я?

– Отец, не притворяйся, что ты этого не помнишь!

Чувство справедливости было для Анны важнее прочих добродетелей.

– Ах да, мальчуган сидел как идиот весь вечер у телевизора, вместо того чтобы пойти вместе с другими в сад. Ябеда, я, в отличие от него, не стал жаловаться матери, когда Богданов мне дал оплеуху за то, что я на лестнице заглядывал женам адвокатов под юбки.

Богданов был их соседом московских времен, и Герман с удовольствием вспоминал его.

Он хотел прохромать на кухню, но его остановила новая мысль.

– Держу пари, все это влияние Тамары. Разве вы не замечали, как она старается отвлечь Тимо от нас, Буриданов?

– Оставь Тамару в покое, ей и так трудно!

В Наде конечно же проснулась женская солидарность.

– Откуда ты знаешь, что ей трудно? По себе меришь, что ли?

– Может, и по себе!

Герману очень хотелось как-то на эту реплику отреагировать, но Надя уже убежала, к тому же ему помешал Арнольд, сунув подарок. Это был пакет средней величины, и Герман даже знал, что в нем, но все-таки изобразил радостное удивление. Буриданы никогда не делали подарки на авось, они сначала звонили или супруге, или самому имениннику и выясняли, чего тому не хватает, обычно это было нечто практичное: свитер, тапочки либо шарф, – но на этот раз сам Герман сказал, что ему хотелось бы получить каминные часы – в кабинете, правда, висели настенные, однако с больной ногой таскаться туда по многу раз в день было неудобно, наручные же он терпеть не мог. Он не стал сразу открывать пакет, положил его пока на рояль и все-таки отправился на кухню. Там Надя наливала воду в большую хрустальную вазу, букет роз гордо возлежал рядом с селедочными головами – аккуратностью казачка не блистала. Открыв холодильник, Герман присел, опираясь на одну ногу, – подобной гимнастикой ему приходилось заниматься всю жизнь. Достав бутылку «Столичной», он услышал донесшийся из комнаты громкий смех и понял, что гости увидели его «дивизию».

– Чему вы смеетесь, сегодня День танкиста или нет? – проворчал он нарочито, вернувшись в комнату.

– Дядя Арнольд удивился, с чего бы тебе его отмечать, ты же у нас больше по Военно-воздушным силам, – передала поспешно Анна не услышанную им шутку.

Опять этот Геринг на моем пути, подумал Герман хмуро, но и сам рассмеялся.

Все уже сидели за столом, он присоединился к ним и передал бутылку Эдуарду, который числился специалистом по разливанию напитков. Первый тост в отсутствие Эрвина, обычно души компании, произнес Арнольд, второй, в рифмованном виде, продекламировал Эдуард.

– Нужен виллы вам проект, вам поможет архитект(ор). На столе он держит план – имя Герман Буридан.

И так далее, еще несколько неуклюжих строф. Герман слушал вполуха, но смеялся и аплодировал вместе с остальными, не желая обижать зятя: мастерить стишки – слабость невинная.

Свиное жаркое получилось отличное, все ели и похваливали, обсуждая общие проблемы, в первую очередь полет в космос Белки и Стрелки. Все, кроме Нади, которую помимо прочих гуманитарных наклонностей характеризовала и любовь к животным, считали это немалым достижением.

– Я не понимаю, зачем надо мучить собак!

– Мама, я же объясняла тебе, эксперимент с собаками нужен для того, чтобы посмотреть, как живые организмы выносят большие нагрузки. Теперь, когда это прояснилось, полет человека в космос, скорее всего, вопрос месяцев.

Это утверждение показалось всем сомнительным, самым скептическим был Эдуард.

– Не думаю я, что человеку удастся так высоко взлететь...

Арнольд обратил общее внимание на еще один нюанс:

– Вы читали «Известия»? В космосе были проведены и генетические эксперименты. Это означает, что мы начинаем снова ценить эту отрасль. Давно пора, а то отстали от прочего мира.

У Софии, как у врача, спросили, зачем надо было доставлять на орбиту мух.

– Это были не обычные мухи, а дрозифилы, – объяснила София, поправляя слуховой аппарат. – Их часто используют при экспериментах, как и зебрину, но почему – я, собственно говоря, не знаю, в Тартуском университете этого не проходили...

Когда тарелки опустели, Герман отправился на веранду набивать трубку, вскоре к нему присоединились Арнольд, Эдуард и Лидия. Куря, они обсуждали развал колониальной системы («На Кубе танцуют румбу, а Африка выбирает Лумумбу», – продекламировал Эдуард) и ругали местное коммунистическое руководство, которое не спешило, по примеру Москвы, осуждать сталинизм. Потом вернулись в комнату, где в промежутке накрыли десертный стол: Надя испекла яблочный пирог, София приехала со своим традиционным домашним фруктовым тортом, Лидия купила в «Файшнере» ароматный, густо пропитанный ромом торт-безе. Герман вытащил из шкафа початую бутылку коньяка, но Арнольд отказался, боясь за сердце, а Эдуард – опасаясь, что его остановят гаишники, одному же пить не хотелось.

– И как же мы поступим с Эрвином?

Голос Лидии, которая не выдержала и заговорила о том, о чем другие давно думали. Настала тишина, даже Виктория не спешила высказаться, молчала, вертя в пальцах позолоченную вилку для торта. Надя первая поняла, что при обсуждении этой темы она лишняя, встала и пошла на кухню мыть посуду, Анна увела Монику в свою комнату, чтобы показать ей «какой-то интересный журнал». Арнольд с Эдуардом выходить, правда, не стали, но вежливо, почти демонстративно отодвинулись на задний план, оставив право голоса собственно Буриданам.

– Я понимаю, вариантов много, страна большая, Эрвин мог поехать хоть на Камчатку, – продолжила Лидия. – Но это же не значит, что мы должны сидеть сложа руки и ждать, возникнет ли у него желание вернуться или нет. А если с ним что-то случится? У меня, по крайней мере, душа болит, я чувствую себя виноватой. Я же разговаривала с ним незадолго до того, как он ушел из дому, как я не догадалась, что у него на уме? Задним числом мне даже кажется, что он был немного странным, но...

– Но ты отнесла это на счет его обычного состояния, – договорила за нее Виктория.

Герман заметил, что Лидия покраснела – младшая сестра всегда была сверхщепетливой, кожа у нее так и не задубела, вот от чего все ее беды.

– Да, потому что я думала только о себе, о своих заботах и не уделила Эрвину достаточно внимания.

– И как нам, по твоему мнению, следует поступить? – поинтересовался Герман. – Разделить Советский Союз на четыре четверти, бросить жребий и всем пуститься в путь? Взять с собой фото Эрвина и показывать его кассиршам и проводницам – дескать, помните ли такого пассажира?

– Герман!

Лидия аж взвилась.

– Что Герман, Герман? Что я не так сказал? И вообще, откуда вы знаете, что Эрвин очень уж мечтает, чтобы мы его нашли? Может, он счастлив, что наконец избавился от...

Он хотел сказать – от тирании жены, но поймал слово за хвост: при Эдуарде не стоило этого говорить – зять симпатизировал Тамаре.

– Но что же тогда делать? – Лидия была на грани того, чтобы разразиться слезами.

Арнольд кашлянул.

– Не знаю, как полагаете вы, но мне кажется, что если уж он куда-то поехал, то к кому-то.

– И, словно извиняясь за свое вмешательство, добавил с усмешкой: – Сами знаете, как трудно в Советском Союзе раздобыть гостиничный номер.

Виктория бросила на мужа благодарный взгляд.

– Вот как раз та причина, по которой я не верю, что он поехал в Ригу. Что ему там делать, у него там никого нет.

– А где есть? – спросила Лидия упрямо.

София снова поправила слуховой аппарат, а потом вовсе сняла его, чтобы было удобнее говорить.

– Круг общения любого человека складывается в юности, – начала она, как всегда, изда-лека.

Было немало людей, которым обстоятельная манера Софии действовала на нервы, но Герман к таковым не принадлежал, ему нравилось слушать, как София медленно и методично строит гипотезы, взвешивает аргументы «за» и «против», за этим чувствовался большой и логичный ум – удивительно логичный для женщины, чьим возможностям, увы, не удалось полностью реализоваться.

– Молодость Эрвина прошла здесь, в Эстонии. В университетские годы он был домосе-дом, отдавался целиком учебе, и, как вы сами помните, друзей у него не было, даже среди однокурсников, поскольку Эрвин был намного выше их интеллектуально. Его круг образовался позже, когда он перебрался в Таллин и стал работать, вначале помощником адвоката и потом адвокатом.

Герман почувствовал, как рассказ Софии вызывает в нем множество воспоминаний.

– Послушайте, действительно, у них же была целая маленькая веселая компания бриджистов. Одного я неплохо знал, это Хофман, он вел дело развода Нади.

– Хофман репатриировался в тридцать девятом в Германию, – сказала Виктория.

– Не в тридцать девятом, а в сороковом. Он был уже стар, не хотел двигаться с места, долго сопротивлялся, но жена настояла, так что со второй волной он все-таки уехал, – уточнил Герман.

– Среди этих бриджистов был еще Сообик, – продолжила Виктория, в которой, кажется, тоже ожили воспоминания.

– Он уехал в сорок четвертом. Я видел его в порту, когда мы провожали Вареса. Что с ним стало потом, я не знаю.

– Сообик в Швеции, – сказал Арнольд. – Я недавно встретил его брата, актера. Его несколько лет не пускали на сцену из-за того, что у него родственник за границей, но теперь, к счастью, все уладилось.

На минуту за столом настала тишина – никто словно не хотел произнести последнее имя.

– Ну да, а что случилось с Шапиро и его семьей, об этом, как говорится, история умалчивает, – буркнул наконец сам Герман.

Шапиро не успели эвакуироваться, их бабушка болела, и ее не хотели оставить одну. Немцы отправили всю семью в концлагерь – никто из них не вернулся.

Пытались вспомнить еще друзей Эрвина, но больше ни у кого ни одной идеи не возникло.

– А девушки? – подал голос Эдуард. – Разве у Эрвина не было подружек?

– Эрвин был очень скрытным, – сказала Лидия. – Никогда не рассказывал о своих приключениях.

– Мне казалось, что он предпочитает замужних, – обронила Виктория.

– Скажи лучше – замужние женщины предпочитали его. Малыш был очень романтичным, это нравится дамам.

– Дамам нравился не романтизм его, а интеллект, – возразила Виктория.

– На поселении у него вроде была какая-то русская женщина, которая о нем заботилась, – вспомнил Арнольд.

София снова надела слуховой аппарат:

– Эта женщина была намного старше Эрвина, она относилась к нему по-матерински. Мне рассказывал сам Эрвин, он был очень благодарен ей, поскольку без нее не выжил бы. Я могу найти письма Эрвина и на всякий случай написать по этому адресу.

– Может, все-таки сообщить в милицию? – засомневалась Лидия.

Виктория решительно выпрямилась:

– Если мы сообщим в милицию и они найдут Эрвина, то обязательно сунут в психушку. Вы понимаете, что это означает? Он снова попадет к сумасшедшим! Надеюсь, вы не будете отрицать, что даже в нездоровом виде он умнее большинства из тех людей, с которыми мы ежедневно общаемся?

Она огляделась, словно ожидая возражений, но их не последовало.

– Я предлагаю еще немного подождать. Я позвоню Тамаре, попрошу, чтобы она поискала записные книжки Эрвина, может, мы найдем там какой-нибудь адрес или телефон, который наведет нас на след. И пусть София в самом деле напишет в Славгород... на всякий случай.

Пришла Надя и стала разливать горячий кофе, Герману, правда, показалось, что жена просто разогрела остывший. Снова заговорили на общие темы, Арнольд рассказал про какого-то американского сенатора, который на полном серьезе жаловался, что в Советском Союзе люди получают лучшее образование, чем у них в Штатах. Это услышали вернувшиеся за стол девушки, и Моника попросила Анну показать старшему поколению «Вольнодумца».

– Все вольнодумцы давно в Сибири, – проворчал Герман.

Но оказалось, что девушки имеют в виду английский журнал, в последнем номере которого хвалили Советский Союз за атеизм и материализм, объясняя ими успехи русских в космосе.

Скоро Эдуарду захотелось домой, София не стала уговаривать мужа посидеть еще – наверно, тоже устала. Все поднялись, оделись, Герман и Надя накинули пальто и вышли в сад провожать гостей. Арнольд настоял, чтобы Лидия поехала домой на машине Эдуарда, сам же с Моникой пошел на автобус. Хозяева вернулись в комнату, Надя с Анной стали убирать со стола, на Германа же нашел приступ сентиментальности, он сел за рояль, заиграл мотив арии Филиппа из «Дон Карлоса» и почувствовал, как внезапные слезы потекли по щекам.

Глава пятая

Лидия

Рига как будто пострадала от войны меньше, чем Таллин, Лидии не встретились бросавшиеся в глаза пустыри. Она вспомнила, как приехала в конце сентября сорок четвертого из Ленинграда в Таллин и не узнала города, от центра в направлении Кадриорга лежали сплошные развалины, в дом, в котором жили Виктория и Арнольд, тоже угодила бомба, хорошо еще, что только одна, в левое крыло здания. Уцелели лишь окраины и более или менее Старый город, словно Сталин специально отдал приказ разбомбить самые фешенебельные кварталы. Конечно, русских можно было понять, на них напали, опустошили их страну, убили миллионы людей, англичанам досталось намного меньше, и все же их авиация разнесла в пух и прах несколько крупных немецких городов; но, и сознавая это, Лидия все равно смотрела на руины с ужасом. Да, современная война была куда более дикой, чем прежние, воевали уже не армия с армией, а народ с народом, к тому же эта война имела еще одно отличительное свойство: она позволяла убивать с большого расстояния, своей жизнью часто вовсе не рискуя. Разве Хиросима не была тому примером?

Сразу пойти искать Эрну было рано, а прогуляться по городу, чтобы скоротать время, у Лидии не хватило сил, обычно она хорошо спала в поезде, лучше, чем дома, да и государственной границы между Эстонией и Латвией уже не существовало, как, следовательно, и надоедливых пограничников, но в соседнем купе оказались пьяницы, которые ночь напролет играли в карты и шумели. Жаловаться проводнице Лидия не хотела, вот и лежала без сна и задремала только незадолго до рассвета.

Город она знала плохо, поскольку до того была в Риге только однажды, кстати, именно вместе с Эрвином, в июле сорокового – счастливый месяц, никогда раньше и никогда позже Лидия не дышала так свободно, как тогда, одна власть была свергнута, а другая еще не успела показать свое истинное лицо. Все три дня небо над городом было безоблачным, а сердце беззаботным, единственное, о чем она жалела, что Густав не смог поехать с ними, ведь на свадебное путешествие у них так и не нашлось времени, Густав весь этот год, как и следующий, был занят выше головы, они почти не видели друг друга, только по ночам, и так случилось, что их первая совместная поездка состоялась только в сорок первом, в эвакуации.

Где-то между вокзалом и центром должна была находиться та самая гостиница, в которой они останавливались с Эрвином, она поискала немного и нашла ее. Мест, конечно, не было, но она показала служебное удостоверение, объяснила, что уедет этим же вечером, и для нее нашли комнату на полдня. Она была просторная и с высоким потолком, Лидия открыла окно, и в номер сразу вторгся шум машин, она вспомнила, как тихо тут было двадцать лет назад, но тогда везде еще было тихо. Открыв сумочку, она достала открытку: «Дорогие тетя Марта и дядя Алекс! Поздравляю с Новым годом, желаю здоровья и счастья! Эрна». Пожелание счастливого Нового года! Теперь, задним числом, это было даже жутко читать, ведь год страшнее, чем сорок первый, было трудно вообразить, даже сорок девятый не мог с ним сравниться, хотя именно в том году она, по требованию Густава, сожгла свою записную книжку – да, если бы не эта открытка, сейчас пришлось бы идти в адресный стол, чтобы узнать, где Эрна живет.

Это София в машине на обратном пути от Германа начала вдруг вспоминать о рижских родственниках, кстати, весьма дальних, о дочерях племянника бабушки Каролины, Лидия их никогда не видела. Они тоже были оптантами, но если папа с мамой оптировались в Эстонию, то сын троюродной тетки Гуннар с дочерьми – в Латвию. В Петербурге дядя Гуннар работал рисовальщиком на царском монетном дворе, а на новой родине, по утверждению Софии, стал известным художником. Дядя умер в середине тридцатых, одна из его дочерей незадолго до этого вышла замуж за еврея и эмигрировала в Америку, другая же, Эрна, осталась в Риге. Она

тоже была художницей, и та самая открытка, которую Лидия держала в руках и с которой на нее глядели два ангелочка, была ее работой.

Послушав немного Софию, Лидия сразу подумала: а вдруг Эрвин поехал к Эрне в надежде, что родственница поможет ему «начать новую жизнь»? Правда, когда они вместе ездили в Ригу, Эрвин не предлагал найти Эрну, но разве молодежь умеет ценить кровные связи? Однако, отдыхая в Силла, он, по словам Софии, весьма интересовался родней и просил сестру досконально рассказать, кто есть кто.

Добравшись домой, Лидия немедленно принялась шарить в ящиках, смутно припоминая, что среди бумаг отца была и открытка от Эрны, наконец она ее действительно нашла, в большом конверте, вместе с парой фотографий и маминым свидетельством о смерти. Сначала она решила, что пойдет завтра на работу и отпросится на вторник, чтобы съездить в Ригу, но потом передумала – к чему медлить? День рождения закончился рано, до ночного рижского поезда было достаточно времени, а начальнику можно было позвонить домой; так она и сделала.

Она посмотрела на часы – стрелки двигались со скоростью улитки. Можно было, конечно, побродить по магазинам, но у Лидии давно пропало на то желание, за все время, прошедшее после смерти Густава, она не купила себе ни одного нового платья. В какой-то степени она о своем внешнем виде, разумеется, заботилась, но обновить гардероб – для чего, для кого? В шкафу висело достаточно одежды, на ее век этого должно было хватить, а мода ее никогда не интересовала.

Она дотянулась до сумочки, достала сигареты и спички, села в кресло, скинула туфли и подобрала ноги под себя. Никакого удовольствия от курения она не получала и вообще не понимала, для чего ей это нужно, но без было еще хуже. Выдув первое большое серое облако дыма, она неожиданно увидела Густава. Муж вышел из ванной в майке, спортивных штанах и старых рваных тапочках, слегка сутулясь – Густав был высокого роста, а тюрьма – не место, где удастся сохранять хорошую осанку.

Поспешно, словно пойманный за проказой мальчишка, Лидия погасила сигарету, но муж словно и не заметил ее неловкого движения, подошел ко второму креслу, опустился в него и только после этого вопросительно посмотрел на жену.

«Эрвин пропал!»

Она рассказала Густаву об исчезновении Эрвина, муж слушал внимательно, как ему было свойственно. Вникать в контекст не было нужды, они встречались регулярно, Лидия держала Густава в курсе относительно всех событий, семейных и прочих, не скрывала от него ничего, естественно, и того несчастья, которое произошло с братом.

Вдруг она заметила, что взгляд мужа скользнул по ее правой руке, и покраснела.

«Мне больше ничего не оставалось, последняя зарплата полностью ушла на выплату долгов. Ты же знаешь, это кольцо мне никогда особенно не нравилось».

Кольцо с рубином Лидии насильно сунула в руку ее дантист, еврейка, которой она осенью сорок первого помогла эвакуироваться. Они встретились случайно в вокзальной суматохе, немцы приближались со страшной скоростью, никто им не препятствовал, уже слышна была канонада. Лидия металась от вагона к вагону, умоляла офицеров, ее не хотели слушать, поезд был набит, в первую очередь от фашистов полагалось спасти коллектив советских мастеров искусства. В конце концов некий лейтенант сжалился и пустил их обеих в вагон. По дороге их атаковали немецкие самолеты, поезд остановился, все вышли и спрятались в поле, среди ржи, треск бортовых пулеметов заставлял непроизвольно жаться к земле, в паре метров от нее лежал какой-то русский солдат и тихонько напевал: «Онегин, я скрывать не стану, безумно я люблю Татьяну...» – и вдруг умолк. За это кольцо Лидия в пятницу получила в комиссионке кое-какие деньги, хватило, чтобы отправить немного Паулю, купить торт и цветы для Германа и еще билет в Ригу. И все же она боялась, что Густав, хотя бы вскользь, уголком рта, выразит свое недовольство, как случалось иногда раньше, когда Лидия делала какую-то лишнюю, по

мнению мужа, покупку – транжирой она не была, но могла вдруг бессмысленно, как выражался муж, «швырнуть деньги на ветер»; однако сегодня ничего такого не последовало, серые глаза Густава глядели на нее с пониманием, только немного печально. Раньше муж был требовательнее, разлука сделала его более покладистым.

Чтобы сменить тему, Лидия стала рассказывать о последних новостях на работе, в Управлении искусств, о том, как один коллега предложил не пользоваться выражением «свободный стих», а только «верлибр», дабы усыпить бдительность ретроградов. «Понимаешь, их больше всего пугает слово „свобода“, они от него буквально шарахаются!» Густав слушал вроде бы столь же внимательно, но только Лидия могла разобрать, что на самом деле мужу нет дела до верлибра, его мучают проблемы посерьезнее: что стало с их народом, всем ли несправедливо депортированным удалось вернуться домой, куда движется государство, в чем сейчас состоит политика партии, готово ли новое руководство полностью смыть с себя пятна сталинизма? Лидия стала рассказывать о недавних событиях, о политике разрядки, которую грозил прервать инцидент с Пауэрсом, но особенно заинтересовать Густава не сумела, муж все это от нее уже слышал, и к тому же это были, так сказать, «газетные новости» – того, что на самом деле происходило за кремлевскими стенами, не знал никто. Оживился Густав только тогда, когда Лидия упомянула, что Хрущев в очередной раз отправился в Америку, на сессию ООН. «Наверно, собирается там поставить вопрос о признании Лумумбы», – предположила она, и ей показалось, что муж с этим согласен, по крайней мере, его густые брови на секунду приподнялись.

Осталась последняя, самая трудная тема.

«Густав, скажи мне, пожалуйста, что мне делать с Паулем? Я надеялась, что в интернате он изменится к лучшему, но никаких признаков этого пока нет. Правда, ведет он себя с воспитателями нормально, не кичится, но учится через пень-колоду... и с остальным тоже все по-прежнему. В пятницу я позвонила директору и спросила, есть ли у них с ним проблемы, и он признался, что Пауль уже попался на выпивке и курении».

Густав сразу помрачнел, его длинные костлявые пальцы вцепились в колени, сильный, волевой подбородок окостенел – почти как в тот раз, когда он узнал про арест Эрвина. Сын был слабостью мужа, он очень переживал, что Пауль «не пошел по его стопам», хотя, что это должно было означать, Лидия не совсем понимала. Густав в молодости тоже пай-мальчиком не был, не зря он уже в пятнадцать лет оказался за решеткой – точно в возрасте Пауля. Правда, «грехи» мужа были другого рода, политические, но, может, это и неплохо, что Пауль свой тяжелый характер проявляет более ординарным способом?

«А вдруг дело в том, что он не находит такого занятия, которое его увлекло бы? Я подумала, может, подарить ему на день рождения фотоаппарат? Что ты об этом думаешь?»

Первая реакция мужа была как будто неодобрительной – опять ты балуешь парня, добром это не кончится, – но потом он вроде смягчился. Понимает, как трудно Паулю без него, подумала Лидия.

На душе осталось последнее – она сама, как она справляется с тяготами жизни, или, вернее, как не справляется, но Лидия не хотела обременять этим мужа, у Буриданов не было привычки жаловаться, кроме Германа, который любил иногда понять, все остальные стоически несли свой крест. Когда мы однажды опять будем вместе, тогда я выплачусь, подумала Лидия, положу голову тебе на колени и буду плакать, плакать, плакать... Только представила себе, и сразу стало легче, и когда Густав встал и размеренным шагом, каким вышел из ванной, туда и вернулся, Лидия даже не вскрикнула.

Она снова взяла открытку, чтобы проверить адрес Эрны, и вдруг почувствовала, что краснеет. Последний взгляд, который Густав бросил на нее перед уходом, был таким, словно он пытался ей что-то сказать, и теперь Лидия поняла что именно. Когда война закончилась, отец написал Эрне, чтобы сообщить о смерти мамы, но письмо вернулось с отметкой «адресат

уехал», и тогда он попросил Густава выяснить, что с родственницей случилось, что муж и сделал: оказалось, что Эрна в сорок четвертом бежала на запад, наверно, к сестре.

Как это у меня вылетело из головы, подумала Лидия потрясенно. Не стоило валить все на то, что вскоре умер и отец, а еще через некоторое время и Густав – нормальные люди таких вещей не забывают. «Что со мной происходит? – задала она себе вопрос. – Я что, сошла с ума?»

Одно было понятно – в Риге ей делать нечего. Бросив взгляд на часы, Лидия встала и начала одеваться – можно было еще успеть на дневной таллинский автобус.

Часть вторая

Опасное путешествие

Глава первая

Майор

Свобода! Никогда раньше Эрвин не ощущал такой головокружительной легкости, как сейчас, когда проснулся от проникшего в купе утреннего света, вслушивался какое-то время в стук вагонных колес, потом поднялся и бросил взгляд в окно, на еще совсем зеленый лиственный лес. Больше полувека его жизнь протекала так, будто не он был хозяином своей судьбы, всегда кто-то другой направлял его шаги и решения.

Только кто? Школу для него выбрала мать – а университет? Не поступать в него было никак нельзя, все дороги вели туда, словно в Рим, вымощенные многими прекрасными камнями, такими как родительские любовь и надежды или его собственные чувства благодарности и долга, только вот в то же время эти камни висели у него на шее, удерживали, препятствовали совершить что-то безумное, ринуться в неизведанное.

С наибольшим удовольствием он поехал бы в настоящий Рим, без какой-либо определенной цели, просто чтобы смотреть, слушать, вкушать и понять. Этого кошелек родителей, увы, не позволял. То есть, может, и позволил бы, отец продал бы еще какой-то участок леса, мать – еще одну драгоценность, Германа ведь отправили в Германию учиться, но Эрвин не осмелился высказать подобное желание: совесть не позволила. Родители были уже немолоды, да и времена другие, надо было экономить, довериться разуму, а не вожделям. На последнем курсе университета он учился параллельно службе в армии, окончил – и сразу на работу, блуждать в лабиринте Дома суда, не находя из него выхода. Сколь мало оказалось в работе адвоката, как он ранее воображал, благородства и сколь много лицемерия, называемого профессиональным долгом. Каждый обвиняемый имеет право на защиту... Неужели каждый? Эрвину приходилось защищать и такого сорта людей, для которых найденные им оправдательные слова служили трамплином к новому преступлению. Строптивость, которую он выказывал по отношению к закоренелым мошенникам, не однажды приводила к брошенному на прощание в его сторону ненавидящему взгляду или даже угрозам. Может, правильнее было постулировать, что каждый человек имеет право на защиту, и лишить этого права тех, которые еще или уже не люди? Но кто должен отличить зерна от плевел? Какой еще критерий, кроме внутреннего чувства, мог подсказать, есть ли у того или другого обвиняемого душа?

Наверно, не стоило считать подлинным ощущением свободы и ту кратковременную эйфорию, которая возникла после крушения государства как скрывавшей конструкции в 1940-м году. Полтора месяца более-менее беззаботной жизни, после чего один каркас был заменен на другой, и вся разница, как вскоре стало понятно, заключалась в том, что они попали из маленькой тюрьмы на большую скотобойню. Мясник, как называл хозяина этого заведения Майор, пытался скрыть жесткие черты лица густыми усами; говорили, что лет за десять до того он застрелил собственную жену. Так это было или нет, никто, в том числе и видевший несколько раз Мясника воочию Майор, точно не знал, но, как полагал Эрвин с его интуицией юриста, исключать подобное не стоило, ибо рецидивы были налицо: количество тех, кого Мясник за годы своего пребывания у власти приказал казнить, подсчету не поддавалось. Кроме врагов, то есть людей, методами, которыми осуществлялись коллективизация и индустриализация, действительно в той или иной степени не одобрявших, Мясник уничтожил или, по крайней мере, отправил в бдительно охраняемые места и многих своих единомышленников. Разде-

лавшись практически с каждым, кто осмелился с ним о чем-то поспорить, скверно отозвался или просто не приветствовал самым почтительным образом, в собственном государстве, он стал посматривать в сторону других стран и народов. Среди прочих ему приглянулась и родина Эрвина, тем более что когда-то не очень давно эта маленькая страна принадлежала его предшественнику на троне империи, и смене династии не следовало, по его разумению, отрицательно отразиться на территории государства. Вот и выпало на долю Эрвина волнующее приключение – путешествие на поезде в том же направлении, что сейчас, только по куда более длинному маршруту. Сколько захватывающей неизвестности будоражило тогда его и еще тысячу мужчин: куда нас повезут, на север, на восток или на юг – а, может, попросту в ближайший песчаный карьер? У многих в том же поезде, только в другом вагоне, ехали жена и дети, у некоторых даже тещи, но не у Эрвина, и в первый раз в жизни он поблагодарил судьбу за невезение в любовных делах. Большинство его спутников не увидело своих близких больше никогда, или, вернее, их не увидели близкие, поскольку среди них было мало людей, хорошо игравших в шахматы, да и начальники лагерей, шахматы фанатично любившие, тоже попадались отнюдь не на каждом шагу. Добавим еще – справедливости ради, – что и такого зятя, как Густав, кроме как у него, ни у кого не было. Однако в поезде они были еще все вместе, государственные чиновники и негоцианты, кайтселийтовцы и вапсы, и один он среди них, как белая ворона, «попутчик», прихвостень новых властей, место которому, по мнению многих, было скорее среди конвоиров, а не арестантов. Как он в тот поезд угодил? Это так и осталось невыясненным. Говорили, что Мясник любил комментировать свои небольшие промахи так: «Лес рубят – щепки летят» – наверно, это относилось и к Эрвину, эдакая стройная, спортивного вида щепка.

Но тогда, в запертом товарном вагоне, без привычных удобств, он, несмотря на негигиеничность обстановки, ощущал и некое странное облегчение: колеса стучали почти так же, как сейчас, пейзаж за зарешеченным окошком все время менялся, одна климатическая полоса переходила в другую, та в третью – разве даже это вынужденное путешествие не было лучше, чем рутинная кабинетная жизнь? По крайней мере, простора вокруг хватало – а разве свобода это не почти то же самое, что простор? Ибо, когда это затянувшееся на пять долгих лет путешествие в конце концов завершилось, Эрвин обнаружил себя опять в Доме суда, альтернативой которому служил только его подвал из слоновой кости. И вот теперь ему было за пятьдесят, и он как будто еще вообще не жил!

С полотенцем, перекинутым через плечо, вернулся сосед по купе, очередной майор – очередной, поскольку количество майоров, с которыми судьба сводила Эрвина, все росло и росло: один конвоировал его на вокзал тогда, в 1940-м; другой, с большой буквы, был не только соседом по нарам, но и лучшим другом; третий, обладавший наибольшей в тех условиях властью, перевел дышащего партнера по шахматам из шахты в библиотеку. Еще один майор устраивал ежемесячные обыски, когда он уже был на поселении, а другой, в Таллине, жонглировал добрых три часа пистолетом в надежде, что Эрвин сломается и выдаст всех известных ему буржуазных националистов. Казалось, что эта страна только из майоров и состоит. Сегодняшний, или, вернее, вчерашний, если считать от начала знакомства, был веселым и разговорчивым, так сказать, майором нового типа, что отличало его от коллег эпохи Мясника, которые (кроме Майора) сперва думали, потом еще раз думали и только потом говорили, к тому же совсем не то, что сперва сказать собирались. Понюхав войну только в последний момент, и то издалека, в противовоздушной обороне, когда, кроме как от облаков, обороняться было уже не от чего, он живо, можно сказать, почти с каннибалистическим интересом выпрашивал у Эрвина, на каком фронте тот потерял ногу. Ответу «На любовном» майор так и не поверил, посмеялся, погрозил пальцем и сказал, что хорошо знает эстонцев, наверняка Эрвин скрывает от него свою былую службу в рядах немецкой армии. Но время было другое, и вместо того, чтобы помчаться телеграфировать куда надо о подозрительном спутнике, майор вытащил из портфеля бутылку коньяка, и они весь вечер обсуждали международное положение. Невзирая

на оптимистический характер или, наоборот, благодаря этому майор стоял на той точке зрения, что Третью мировую войну осталось ждать недолго, он даже выдал прогноз, когда, с кем и почему она начнется – с США, годика через два, за Берлин.

«А как же разрядка?» – спросил Эрвин, ему ответили, что «разрядка заменена зарядкой», и доверили под большим секретом, что Пауэрс был отнюдь не первым нарушителем воздушного пространства СССР, американцы уже давно летают над Каракумами и Сибирью. «А почему их раньше не сбивали?» – спросил Эрвин недоверчиво. «По гуманным соображениям.

Американские летчики ведь в основном наши союзники. Пролетариат, который империалисты эксплуатируют. Они вынуждены делать эту грязную работу, чтобы кормить семью. Мы бы и Пауэрса пощадили, но ему удалось снять важный полигон». После последнего признания майор, как будто поняв, что сболтнул лишнего, стал вдруг неразговорчив и скоро лег спать, проснулся в дурном настроении и смягчился только тогда, когда Эрвин, надев протез, вытащил из рюкзака бритвенные принадлежности. Схватив со стола жестяную кружку, майор, не обращая внимания на протесты Эрвина, принес ему горячую воду. «Вам же трудно», – оправдывался он, в очередной раз демонстрируя широту души русского народа, способного прощать даже пособников Гитлера. Солнце светило, поездное радио играло, Георг Отс и Виктор Гурьев пели дуэтом, Москва все приближалась, на перронах станций дачных поселков стояли бесформенные бабы в платках, толстых кофтах и резиновых сапогах, держа наготове ведра с яблоками и корзины с грибами, а тут и проводница стала собирать белье и возвращать билеты.

Другого, настоящего, Майора с большой буквы, Эрвин заметил еще до того, как поезд остановился – Майор, как такса, семенил по перрону вдоль вагона, переходя от одного окна к другому. Когда его узкое, с острыми чертами лицо появилось за тем закоптелым стеклом, у которого сидел Эрвин, тот подал другу знак, постучав в окно. Майор остановился, поднял к кепке руку в качестве дополнительного козырька и попытался заглянуть внутрь. Было трудно определить, увидел он Эрвина или нет, и, чтобы не осталось никаких сомнений, Эрвин призвал на помощь лагерный алфавит. «Здорово!» – отстучал он, и Майор, сразу прервав напряженные поиски, засунул руки в карманы светлого плаща и стал спокойно ждать его выхода. Эрвина охватило нетерпение, он встал и встретился взглядом с другим майором, тот, с чемоданом в руке, стоял в дверях купе.

– Вам помочь? – спросил он, внимательно разглядывая Эрвина, словно старался запомнить его приметы: примерно пятидесяти лет, высокого роста, темные с проседью и слегка волнистые волосы, одет в черное драповое пальто, белый шелковый шарф и шляпу, в круглых очках, с рюкзаком, левая нога ампутирована выше колена, передвигается на костылях.

– Спасибо, меня встречают!

– В таком случае прощайте, Эрвин Александрович, удачной вам командировки!

– Прощайте!

Неужели и вправду «прощайте»? Не ляжет ли уже через час на стол дежурного в ближайшем отделе КГБ донесение – подозрительный спутник, возможно, бывший немецкий офицер, владеет языком перестука, распространенным среди заключенных?

Майор – настоящий Майор, – увидев Эрвина, попытался скрыть потрясение, но, конечно, не сумел. Надо было его предупредить, подумал Эрвин, но как ты напишешь в телеграмме: «Не пугайся, я перешел в разряд одноногих».

– Эрвин, дорогой мой, что с тобой случилось? – Голос Майора был мягкий, певучий, объятие крепкое, и если б он был немного выше ростом, то Эрвин, возможно, на миг прижался бы от умиления щекой к плечу друга, но сейчас все выглядело скорее так, словно он утешает Майора.

– Не обращай внимания, я уже привык. И носки теперь легче стирать...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.